

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЧУМАКИ

---

### *В сибирской глубинке*

#### Начало

Читавшие предыдущие части этой книги знают, что в деревне мне бывать приходилось и до этого. В уральской, куда я летом 1942-го был направлен с авиазавода во время уборочной, и в ярославской — туда меня поздней осенью 1944-го направили из Подлипков на уборку картофеля. И там, и там я провел по нескольку дней, после чего меня отправляли назад — «за невозможностью использовать». Теперь тоже стояла поздняя осень (Сибирь все-таки), но «отпустить» или «направить» меня отсюда никто не мог — разве что в лагерь. Но этого, слава Богу, никто не сделал. В прошлые разы я был временным, пришлым, представителем иной, по выражению К.Симонова, «праздничной» (пусть за войну и оголодавшей) жизни, а здесь мне самому предстояло стать постоянной частью этого деревенского, отнюдь не праздничного мира. Но я забежал вперед. Мир этот увидится и осознается мной потом, а пока я еще не представляю ни людей, ни условий их жизни, ни даже их положения в государстве.

Я еще вообще не представляю, как буду жить. Но на следующее утро назначено распределение, а я советский, да еще книжный человек, и все еще немножечко верю в разумную распорядительность государства. Хотя мистика эта поддерживает меня слабо — при любой разумности и доброжелательности, раз меня уже сюда заткнули, куда меня здесь девать?

Но вот настает распределение. Происходит оно в помещении райотдела МГБ. Вокруг его временного начальника, старшего лейтенанта Патрушева (начальник, капитан Ко-

шелев, был в это время на курсах повышения квалификации), сидят крепкие люди в грубых, но добротных пиджаках — и я сразу понимаю, что это руководители учреждений и предприятий района, пришедшие отобрать для себя нужных им людей. Коля-финн на вопрос о профессии с достоинством отвечает: «Повальщик», и лица присутствующих освещаются улыбкой:

— Ну, конечно... Финн... Природный лесоруб.

И его тут же зачисляют в Крещенский леспромхоз — самый крупный промышленный объект Михайловского района, размещавшийся в селе Крещенка. Туда зачисляют большинство новоприбывших.

Я вызываю всеобщее любопытство — такие птицы сюда еще не залетали. А когда я отвечаю на предложение ехать в леспромхоз фразой (услышанной от кого-то в тюрьме), что использовать меня в качестве лесоруба все равно что балалайкой гвозди забивать, это вызвало всеобщий восторг и даже сочувствие. Но реализовать свое сочувствие в границах района было невозможно. Естественно, представители районной газеты (органа райкома и райисполкома) на это совещание работодателей приглашены не были. Впрочем, я за два с лишним года не видел ни одного ее работника и не слышал ни про кого, что, дескать, он там работает. Может, ее там вообще не было, но нет, была, я ее вроде видел. Впрочем, я был весьма далек от тех узких кругов (совпарт-актива), в жизни которых она могла что-нибудь значить. Но о местной жизни — потом. Пока же важно для меня то, что вопрос о моем трудоустройстве остался открытым.

Записавшиеся в леспромхоз все или частично по каким-то не то организационным, не то погодным причинам не могли быть тут же туда отправлены. Им (входил в эту группу и «потомственный лесоруб» Коля-финн) предложили пока поработать в колхозе на молотье — обещали хорошо кормить. К ним добавили и пока не трудоустроенного меня: «вернешься — разберемся». С этим напутствием на следующий утро я «с группой товарищей» выехал на грузовике в деревню Кульча. Возглавлял всю команду вахтер МГБ, сержант-фронтвик Миша Зонов.

Заниматься этимологией по поводу его фамилии, вывести ее из «зоны» не стоит: половина Чумакова — Зоновы. Но о нем и двух его родственниках, тоже работниках МГБ:

конюхе дяде Васе Непомнящих и его жене, уборщице тете Паше, в свое время. А сейчас важно, что я временно покинул Чумаково и выехал в неизвестную мне Кульчу.

### Кульча. Колхозные страды

Подъехали мы прямо к правлению кульчинского колхоза. Председателя на месте не было. Пока его искали, бухгалтер, местный грамотей и читатель газет, завел с Мишей беседу о международной политике, то есть о том, что об этом писали газеты (надо думать, о кознях Америки). Миша, которого бухгалтер дипломатично именовал «товарищ сотрудник», будучи не очень силен в этих «высоких» материях, с приличествующим видом отмалчивался и поддакивал. Но бухгалтер все равно пел соловьем, ему нравилась умственность этого разговора и собственная посвященность в то, о чем он имел представление только по газетам. Думаю, что от разговора с «товарищем сотрудником» на более близкие и знакомые ему темы бухгалтер скорее всего уклонился бы. И дело было не только в осторожности, просто это были вещи, понятные всем вокруг и как бы умственности не требовавшие, говорить о них было неинтересно, а газеты, приобщавшие к этой умственности, читал только он (большинству его односельчан было не до Америки), и ему было приятно блеснуть перед понимающим человеком. Бухгалтер был не так глуп, но, как и многие, он был своеобразной жертвой «культурной революции в СССР». В этих людей заронили тягу к культуре, но в их протянутые руки регулярно клялись камни. Разумеется, тогда я так не думал — мне было даже приятно: человек вырос и живет в глуши, а мыслит правильно, то есть так, как и я изо всех сил стараюсь мыслить. Впрочем, излагал свои соображения бухгалтер недолго — явился председатель.

Обрадовался он нам как родным — видать, ему крепко намылили шею за невыполнение графика госпоставок, а выполнить его он не мог — для этого требовалось зерно, а его не было. Неомолоченный хлеб стоял в скирдах, а для того, чтобы намолотить его в достаточном количестве, не хватало людей. Он лично повел нас к пустовавшей, но еще не разваливавшейся избе, отведенной нам под общежитие,

а потом привел в другую и познакомил с милой, приветливой женщиной, ее хозяйкой. В этой избе нам предстояло питаться три раза в день, а этой женщине нас кормить — быть нашей поварихой. Чтобы больше к этому не возвращаться, скажу, что все три раза нас кормили хорошо и вкусно — с мясом. Думаю, что настоящие колхозники так не питались. Так что в каком-то смысле нашей милой хозяйке повезло — по случаю этого аврала смогла подкормиться и она с маленькой дочерью. Но доброжелательна она была не поэтому, а по свойству природы. Продукты ей для нашего пропитания выписывались щедро. Видимо, председатель понимал, что без этого от людей, ослабленных тюрьмами и этапами, настоящей работы не дождешься. Забегая вперед, скажу, что настоящей работы он все равно не дождался, но произошло это не по нашей вине. О чем — чуть позже.

Сытно поужинав, мы вернулись к себе и стали располагаться на ночь. Изба, отведенная нам, как и весь порядок, стояла если не на самом берегу озера, то вблизи него. От этого и название деревни — Кульча (Куль по-татарски — озеро). Кстати, в этой деревне, да и во всем районе, немалую часть населения составляли татары. Но они были мало заметны, ибо по-русски говорили так же, как все остальные деревенские. Познакомился я в Кульче с юношей татарин, тяготевшим к культуре и очень любившим русские народные песни. Я поначалу и не знал, что он татарин, пока он не стал диктовать мне свой адрес — уж слишком эти песни звучали в его устах как свои, неотрывные от его существа. Кстати, от него я впервые услышал «Одинокую гармонию» Исаковского, появившуюся, видимо, когда я сидел в тюрьме. В общем контексте — правда, с некоторым удивлением — я и эту песню принял за народную.

Но это к слову. Остановился я на том, что мы начали располагаться в отведенной нам избе. Размещались, естественно, на полу — никакой мебели в избе не было — и стали, как говорится, травить баланду. Другими словами, «начались у нас подначки да байки» — никто так много не смеется, как арестанты и лагерники. Между тем начало быстро темнеть, окна почернели, наступил вечер. И вдруг я осознал, что из-за озера уже некоторое время доносится какое-то протяжное тоскливое завывание. На мычание коров, за которое я его случайно принял, оно похоже не было.

Оно меня тревожило, но я не особенно старался угадать, что это означает. Мало ли что — я ведь вообще не привык к сельским звукам. Но кто-то вполне буднично сказал мне: «Слышишь? Это волки!» — и я сразу узнал волчий вой. Узнал, хоть услышал его тогда впервые. Он был очень похож на все его описания, которые мне приходилось читать. Должен вслед за всеми сказать, что ничего приятного в нем нет. Приятно было только то, что нас от этого воя отделяло широкое озеро и крепкие стены избы. Это придавало нашему пристанищу ощущение человеческого уюта и защищенности цивилизацией, хотя бы в том виде, в котором она существовала в этой глухомани.

Только подумалось: да, мы в Сибири. И вспомнилась реакция Филиппо на слово «Сибирь» (кто-то из сокамерников как-то предрек ему полушутя: «Поедешь в Сибирь — там увидишь»):

— Сибир... Сибир... — пробормотал он, напряженно что-то припоминая. И внезапно вспомнил: — Сибир! Там... Там... Лупо!

И глаза его расширились. Вероятно, «лупо» были для него существами из страшных сказок о диких странах.

Что ж, так оно и оказалось — только ничего сказочного. Вокруг Сибирь, а за озером — «лупо».

Наши трудовые будни, а заодно и близкое знакомство с трудовым энтузиазмом советских колхозников, начались на следующее утро. Ровно в пять, когда за окнами еще было темно, а вся деревня мирно спала, нас разбудил стук в окно и доброжелательный голос председателя:

— Подъем, ребята! Собирайтесь.

Собраться нам было просто, мы ведь и спали одетыми. Мы быстро вскочили и, кое-как приведя себя в порядок, поплелись к нашей «столовой». Так повторялось каждое утро. По-моему, там мы и умывались. Завтрак, горячий, вкусный и сытный — суп с лапшой и с мясом, — был уже почти готов. Ели мы не торопясь, с удовольствием — ведь все, кроме меня, были недавними лагерниками, отсидевшими свои «червонцы» и почти забывшими вкус домашней пищи. А хозяйка наша готовила хорошо, по-домашнему — иначе не умела. Мне тоже после тюрьмы и пересылок эта пища была очень кстати. Да и вообще — без всяких пересылок — кто бы в нашем общежитии, даже из тех «богачей», кто получал из дому посылки с сушеной картошкой,

не обрадовался бы такому высококалорийному, вкусному, да еще трехразовому питанию? Мы были искренне благодарны председателю и нашей кухарке. Не скажу, что нами от этого овладел трудовой энтузиазм, но желание отблагодарить работой было. Особенно в первый раз. Потом по причинам, от нас не зависящим, оно сменилось индифферентностью. Однако расскажу по порядку.

Наши рабочие впечатления начались с того, что примерно в начале седьмого снова появился председатель и повел нас на ток. Для тех, кто этого не знает (а я был именно таким), ток — это как раз то место, где молотят хлеб — раньше вручную цепями, а теперь при помощи молотилок и комбайнов. Но когда мы туда пришли, ток — он был расположен недалеко, почти сразу за околицей — был пустынен и вид имел нежилой. В лучах морозного рассвета одиноко стояли комбайн (его использовали как молотилку) и трактор, который должен был приводить весь агрегат в движение. Но сейчас казалось, что он никогда не работал. Во всяком случае, никогда не заработает. Было минимум половина седьмого. Председатель смущенно потоптался.

— Ничего, ребята! Колхозники сейчас соберутся, — произнес он бодрым тоном. И добавил: — Ну я пойду, а то делов по горло.

И зашагал к деревне.

Однако кохозники не спешили собираться — ни один не попался ему навстречу, пока он не скрылся из глаз. Мы остались на току одни. Делать нам было абсолютно нечего. Мало-помалу мы стали зарываться в копны — досыпать. Колхозники по одному начинали собираться ближе к девяти. И так было каждый день. Но в нашем распорядке ничего не менялось. Председатель по-прежнему как ни в чем не бывало будил нас в пять утра, и по-прежнему приблизительно в то же время мы являлись на пустынный ток досыпать. Только что без сопровождения председателя, поскольку теперь и сами знали дорогу. Энтузиазм от этого появиться не мог.

Зачем председатель будил нас так рано, для чего и сам вставал ни свет ни заря, я не пойму, наверное, уже никогда. Демонстрировал этим, что у него все с утра пораньше рвутся на работу — так жаждут быстрее «выполнить долг перед государством» и «засыпать хлеб в закрома Родины»? Вряд ли. Да и перед кем? Был там, правда, уполномочен-

ный райкома Завьялов (служащий из райцентра, мобилизованный в качестве «толкача»), но он занимался реальными делами (толкал хлебосдачу) и вообще ощущался как толковый организатор — такие демонстрации его не интересовали. Так в чем же дело? Я думаю, председатель просто привык безуспешно требовать трудовой дисциплины и на нас отводил душу. Все же мы были компактная и дисциплинированная группа: разбудил, встали, поели и явились на рабочее место. Ведь положение его было очень непростым. Непросто каждый день заставлять людей делать то, что им делать не хочется. В первый еще день я был свидетелем такого диалога на сельской улице (только имена, употребляемые в нем — вымышленные, подлинных я не помню).

Я стоял рядом с председателем. Он был настроен весьма благодушно и разговаривал с нами о чем-то интересном, но вдруг углядел колхозницу с ведрами на коромысле — та ничтоже сумняшеся переходила улицу.

— Мария, ты что?

— А что? — поинтересовалась Мария не без некоторого вызова.

— Как что? На работу чего не выходишь?

— Так видишь же — постирушкой занята. А то дети только что не завшивели.

— А вчера почему не вышла?

— Яйца в Чумаки на базар возила. А то денег совсем не стало, а детям в школу идти.

— Ой, дожدهшься, Мария, соберем собрание и вышлем тебя отседа.

Тогда — короткое время — действовала такая практика. Нерадивых колхозников, не выработавших достаточного количества трудодней, можно было решением колхозного собрания выслать куда-то подальше из родной деревни. Так что угроза была реальной. Но Марию она нисколько не испугала. Наоборот, вдохновила.

— Что? — чуть не взвизгнула она. — Вышлешь? — и голос ее приобрел оттенок сарказма. — Сделай милость! Вышли! Нинку Завьялову ты выслал, а с неделю назад Верка ихняя письмо от нее получила. Пишет: «Живем в городе Хабаровском, рабочий день — восемь часов, получаем шестьсот рублей в месяц. Спасибо председателю — век за него буду Бога молить». Давай высылай!

Председатель только крикнул — что он мог на это возразить? Попытался перевести разговор на скабрзные темы: стал объяснять ее пыл отсутствием мужика, предлагать ей для утешения какого-то местного калеку, который, дескать, на нее засматривается (а засматриваться было на что). К этой теме она отнеслась серьезней, это была реальная проблема.

— Да нет, он же никуда.

— Ну и пусть никуда. Мужиков-то нет. Сиську погладит, и то хорошо.

На это она не ответила. Это была обидная правда, но грех было над этим шутить, не говоря уже о том, что эта незаслуженная обида многих баб, особенно деревенских (но не только), была историческим несчастьем всей страны. Но председатель (тем более тогда) так думать не умел (как, впрочем, и я), он просто таким путем вышел из неудобного положения. Сталинское государство вышло из него еще проще. Но об этом — позже.

А пока вернемся к нашему первому трудовому дню в колхозе. Как я уже отмечал, колхозники по одному начинали появляться ближе к девяти. Разводили маленький костер, грелись, разговаривали, пели, пекли и ели принесенную из дому картошку. Все это было хорошо и интересно, но не было работой. Примерно в полдесятого кто-то вспоминал, что было бы все же не худо и поработать. Народ живо откликнулся — действительно, раз явились, то надо и честь знать. Но некоторое время раскачивались. Потом, когда дело было около или чуть больше десяти, трактористка Шура, крепкая и широкая в кости, но вполне женственная девушка лет двадцати, подходила к трактору, и начиналось действие. Трактор был ХТЗ. В просторечии имя этого первенца пятилеток расшифровывалось как «Хрен, товарищ, заведешь», и расшифровке этой он соответствовал. Заводился он вручную. Шура вставляла ручку в отверстие стартера и начинала ее вертеть рывками и плавно, мотор не реагировал. Впрочем, иногда он начинал фырчать, но тут же замолкал. Шура, почему-то стеснявшаяся при мне материться, — это в ней проявилось как-то сразу, не выдерживала и обзывала трактор всякими нехорошими словами. В том числе и «Ах ты, б-ский рот!» Потом, в хорошую минуту, когда травили баланду, я подходил к ней и спрашивал невзначай:

— Шура, а какой у трактора рот?



Она смушалась. Хорошая и трогательная была эта высокая и сильная девушка.

Но вернемся к первому дню. Шура долго пыталась завести свой ХТЗ и в конце концов устала, и за ручку стали хвататься мужики. Результат был тот же. Но в конце концов через час-полтора трактор завелся, и началась горячая работа. Однако минут через сорок, приблизительно в половине первого, трактор заглох. Наступило время обеда. И все разошлись по домам. Мы тоже отправились к нашей кухарке. Пообедали, поточили ляды (для отдыха) и часам к двум вернулись на ток. И повторилась та же история. Ток был теперь ярко освещен предзимним негреющим солнцем, но на нем, как и в утреннем полумраке, не было ни души. Колхозники понемногу собрались только часам к трем, и через некоторое, тоже немалое время Шура начала заводить трактор, он по-прежнему сопротивлялся, по-прежнему ее сменяли мужики, в том числе и наши. Между тем быстро темнело, и когда трактор завелся, оставалось для работы максимум минут сорок. Должен признаться, что мой ретроспективный хронометраж рабочего времени поневоле «лакировочен». На самом деле мы в целом работали даже меньше, чем те восемьдесят минут (т.е. один час двадцать минут) в день, как у меня теперь получилось. Подводит память — все выглядело еще фантастичней.

Но и так, как описано выше, бывало только при самом благоприятном стечении обстоятельств, а его почти никогда не бывало. Чаще всего после того, как с таким трудом заводили неизменно сопротивляющийся трактор, вдруг раздавался чей-то изумленный возглас. Например:

— Воды!.. А где вода?

Воды — не для питья, а для охлаждения мотора — не было. О ней вовремя не позаботились. Начиналась перепалка — выясняли, кто именно сегодня должен был обеспечить трактор водой. Обычно выяснить это не удавалось, кто-то запрягал быков и отправлялся к далекому колодцу за водой. Минут через сорок воду привозили, и опять начинали заводить трактор. Тем же порядком. Иногда на месте не оказывалось самих быков. Обнаруживалось это почему-то только после того, как трактор наконец заводился и надо было приступать к работе. Но работать было невозможно. Быки были необходимым элементом высокомеханизированного процесса молотбы — с их помощью отгребали

солону от неподвижного (используемого только как молотилка) комбайна. Конечно, когда комбайн, как ему положено, двигается и одновременно убирает и обмолачивает хлеб, ему никакие быки не нужны: солома разбрасывается по полю, и отгрести ее не нужно. А когда стоит — если не будет быков, он будет сразу завален соломой.

За быков отвечали мальчишки-подростки. Накануне они отпустили быков пастись по жнивью и теперь начинали спорить, чья очередь сегодня вовремя пригнать их.

— Не я! Я позавчера их ловил.

— А я вчера!

Виновный, естественно, не обнаружился, но всем уже было не до того. Путем опроса выясняли, кто, где и когда последним видел этих быков пасущимися, и спорящих вместе отправляли на розыски по всей окрестности. Набегавшись, они этих быков находили и пригоняли. Уходил на это опять целый час, если не больше. И опять начинали заводить ХТЗ.

Но тяжелее всего бывало, когда трактор неожиданно останавливался из-за того, что вдруг кончался бензин. Это было упущением правления — Шура вряд ли сама умела рассчитывать расход топлива. Теперь надо было спасать положение. Уполномоченный Завьялов (он был энергичным человеком и хорошим организатором, но чему это могло помочь?) бежал в правление, запасался документами и лошадей и отправлялся на МТС. Бочку бензина он привозил, но до того момента, когда Шура опять начинала крутить ручку стартера, уходило часа два, не меньше.

Иногда эти накладки сменяли одна другую в один и тот же день. Но поразительно другое. Независимо от того, были ли накладки и сколько их было, пятьдесят — восемьдесят минут полезного времени было как бы нашей нормой. Ниже нее мы не опускались и выше не поднимались. Только один день — последний — отличался от этой схемы, работали много и жарко, и ничего у нас не портилось. Видно, азарт конца передался и механизмам. И мы кончили молотить. Правда, кончали мы молотить только для хлебосдачи, а для себя — на трудодни и семена — колхозники могли молотить дальше и сами. Тут жестких сроков не было.

Что делал там я? Честно сказать — не помню. Подавать на вилах снопы я вряд ли бы мог, во всяком случае, долго. Видимо, я подносил их. Кажется, водил и быков. Переры-

вы на работу были столь краткосрочны, что такой каприз памяти неудивителен. Из моих чисто сельскохозяйственных впечатлений от деревни Кульча у меня осталась только фантастическая организация работ, общее впечатление от бывших со мной рядом колхозников (конкретно помню только Шуру), а о себе самом почти ничего не помню.

Была ли такая «работа» сознательным саботажем? Я говорю не о ссыльных — ссыльные были не прочь благодарно отработать хорошую кормежку, да и кто бы с их опытом стал теперь искать новых (лагерное выражение) «приключений на свою задницу» — тем более по такому мелкому поводу, как хлебосдача захудалого колхоза. Не говоря уже о том, что все эти люди вообще не были политиками, что политика только была им «пришита». Нет, я говорю о работе местных колхозников, так сказать, полноправных советских людей, от которых, кстати, зависела и наша работа. Уверен, что они и в голове не держали никакого саботажа. Он получался у них сам собой, стихийно — просто не очень хотелось работать, ибо труд этот был принудителен и почти не имел для них смысла — при любом старании не сулил ни достатка, ни улучшения жизни. Так что лучше было не стараться, а беречь силы для своей, домашней, единственно важной и осмысленной для них работы. Им все время трубили про их долг перед Родиной. Во время войны слова эти что-то значили и для них, не говоря уже о том, что у всех на фронте были сыновья и мужья. Но война кончилась три года назад, и теперь это важное слово превратилось в звук пустой, в обычное пустословие начальства, на которое не надо возражать, но лучше пропускать мимо ушей. Кто их мог научить долгу? Кто руководствовался хотя бы подобием долга перед ними? Никто. И это они видели — даже те, кто не формулировал, это ясно ощущали.

Товарищ Сталин, по-видимому, был бы не прочь сохранить напряженность и самоотдачу военного времени на долгие годы — для исполнения своих величественных планов. Но люди хотели жить. Правительства всех стран — и победительниц, и побежденных — признавали, да и не могли не признавать за своими народами это право, даже руководствовались этим в политике. Но на народы нашей страны, которые имели счастье жить под водительством Сталина, это не распространялось. Даже сам Л.М.Каганович, раболепие которого не только перед живым «гением», но и

перед его исчезнувшей тенью было вне конкуренции, потом говорил Феликсу Чуеву (Феликс Чуев «Так говорил Каганович»), что, конечно, в период войны и восстановления от народа требовались жертвы, но потом великий Сталин сделал ошибку — надо было дать народу передохнуть, а он не дал. Конечно, это высказывание отвратительно своим спокойным, естественным отечески-собственническим отношением к народу: мол, надо было дать народу чуток передохнуть, перед тем как погнать его опять «на штурм высот», — но сейчас меня интересует только констатация факта. Никакого передыху народу не давали, даже с точки зрения Кагановича. И делалось это сознательно. Не знаю, к какому периоду относил Каганович октябрь 1948 года — к восстановительному или к следующему, — но никакого своего долга работать не на себя кульчинские колхозники тогда уже не чувствовали. А на себя — могли только на своих приусадебных участках, производительность на которых — многие этим гордятся — по слухам, была самой высокой в мире. Но обходилась эта производительность дорого. Желających узнать об этой системе самоэксплуатации подробнее отсылаю к замечательной работе Льва Тимофеева «Технология «черного рынка», или Крестьянское умение голодать». Обходилось это дорого. И не только для здоровья земледельца, но и для его отношения к вещам — вредно было привыкать к сознанию, что основной массив земли есть нечто лишнее, отвлекающее от главной работы. Все это, конечно, аукается и сегодня. Но об этом еще будет повод говорить.

К сожалению, я был тогда в смятенном состоянии, не представлял своего даже самого близкого будущего и не запомнил разговоров у костра. Помню только, что часто спрашивали меня о моей диковинной для них жизни, вообще просили что-нибудь рассказать, слушали внимательно. Много шутили. Почему-то запало, что однажды в шуточных пререканиях Миша Зонов назвал Шуру, у которой после ее очередной неудачной возни с трактором щеки были в саже, «чумазой»: «Эх ты, чумазая!», и она как-то искоса посмотрела на него: всерьез он с ней заигрывает или нет? К сожалению, не всерьез. А ведь парней для нее вокруг не было. Тогда я об этом не думал, а сегодня мне больно — хорошая была девушка, а что ее ждало? Она однажды потом заходила к нам, когда приезжала по каким-то делам в

Чумаково, — просто так. У нас были хорошие отношения. Все такая же и все одна.

Еще у костра, как везде в России, часто любили петь. Хорошо бы тут начать распространяться о красоте народных песен, действительно прекрасных. Но получилось так, что услышал я эти песни только в Москве. А в деревне тогда пели в основном те песни, которые слышали по радио или в кино — сюда иногда заезжала кинопередвижка. Так я, как я уже здесь рассказал, впервые услышал «Одинокую гармонию».

Кстати, с пением у меня произошел странный казус. Должен сознаться (а может, я уже говорил здесь об этом), что я начисто лишен не только голоса, но и слуха. И когда уступаю душе, которая иногда и во мне поет, окружающие вежливо, а более близкие и невежливо предлагают мне заткнуться. И я всегда с пониманием отношусь к этому предложению. А тут у костра у меня впервые получилось не так. Кто-то спросил, знаю ли я какие-нибудь песни. Я ответил, что в тюрьме слышал (от Алексея Михайловича на Лубянке) и запомнил одну замечательную песню, но ее надо петь, а я неспособен. Ребята и особенно Шура потребовали, чтобы я спел как умею. И я начал «напевать» «В воскресенье мать-старушка...» Как ни странно, всем очень понравилось. Меня не удивило, но сначала я отнес это одобрение к тексту песни, на самом деле замечательному. По чьей-то просьбе я записал слова и считал свою миссию выполненной. Но потом Шура попросила, чтобы я «спел» еще раз. Я спросил, зачем. Оказалось, что, по ее мнению, у меня хорошо получается. Я очень удивился и запротестовал, но ее поддержали другие. Пришлось «спеть» еще раз. И опять был успех. Что сей сон значит, я и теперь не знаю. Объяснение этого успеха музыкальной неграмотностью слушателей отпадает. Есть эта грамотность или нет, но что такое пение, в деревнях знают, ибо поют много и многие, и поют хорошо. Не думаю, что они принимали мое звукопроизнесение за пение, но что-то им действительно нравилось. Недавно я для хохмы «спел» эту песню (и еще песню Ю.Алешковско-го «Семейка») моим друзьям, талантливым вокалистам Нине Савицкой и Сергею Григорьеву, и они тоже заставили меня несколько раз повторить «выступление». Понравилось. Мелькала у меня мысль, что мое «пение» было для них тем же, что для пушкинского Моцарта несуразные зву-

ки скрипки уличного музыканта, которого он привел к Сальери, но непохоже. Да и знали они, что мне и до этого скрипача далеко. Но это у меня случилось только с теми двумя песнями. Окуджаву, которого я очень люблю, меня никогда никто не просил повторить, наоборот, просили замолчать, если я начинал петь сам. А тут — пожалуйста. Тайна сия велика есть. Мне больше нравится, когда поют другие. Все. В том числе и обе эти песни. Впрочем, для моего повествования это «музыкальное отступление» лишнее. Просто этот факт меня самого развлекает, и я не мог удержаться от упоминания о нем.

А заговорил я о пении потому, что ничего конкретного, кроме него, от дружеского общения у костра в моей памяти не осталось. Только общее ощущение человеческой теплоты. А ведь я участвовал в разговорах, рассказывал, спрашивал, слушал. И ничего не запомнил. Слишком и я, и все мы были в этой деревне краткосрочными и пришлыми. Не говоря уже о том, что слишком задавлен я был непроходимой туманностью ближайших перспектив. Да и мое искусственное мировоззрение и мироощущение мешали мне пока почувствовать жизнь деревни и реальную ценность ее людей, хотя меня к ним влекло. Я так и не стал деревенским, но к какому-то пониманию людей деревни я все же пришел, даже к некоторому сближению с ними. Только чуть позже.

Впрочем, разговоры чаще случались между нами — теми, с кем я приехал и жил. Мы ведь жили все вместе, домой приходили рано (поскольку осенью рано темнеет), и деваться нам было некуда. Кроме того, были и дождливые дни, когда молотить было нельзя. Вот и трепались. С этими дождливыми днями связан смешной эпизод. Нас пытались пристроить к ручным молотилкам. Один из наших поляков, пожилой пан Станіслав, очень милый и деликатный человек, возмутился. Сказал, что нам это не по силам, спросил: почему мы должны делать то, о чем не договаривались? Ему ответили словом, понятным каждому советскому человеку:

— Надо!

Но пан Станислав не был советским человеком и возмутился:

— Надо!.. А може, им корив доить надо?

Впрочем, ручная молотба у нас не пошла, нас с нее сняли. И мы вернулись к своим разговорам. Не скажу, чтобы эти разговоры были очень содержательны. Вопрос о выборе пути для страны или, допустим, о сепаратизме этих «политиков» не интересовал. А опыт за спиной был общий, объяснять друг другу ничего не надо было. Вот и пробивались лагерными байками. Или просто зубоскальством.

— Наум, ты сколько лет учился? — спрашивает кто-то.

— Два с половиной года в Литературном институте.

— А до этого?

— Ну, девять лет в школе. За один год два класса прошел, — отвечал я, не понимая, к чему он клонит. Оказалось, что все это выпрашивается затем, чтоб сострить:

— Видишь, так много учился — вот и сел.

По тем временам двенадцать с лишком лет учебы многим еще по-прежнему казалось высоким уровнем образованности. Разговор этот ленивый, никому не обидный, затейный для проведения времени, вовсе не имел в виду задеть кого-то за живое. Но — задел.

— Не хфакт! — раздается вдруг из угла страстный и отчасти возмущенный голос: — Не хфакт!

Принадлежит он Чванову (я запомнил его фамилию, потому что так звали и моего симского одноклассника), человеку мрачному, крупному и измученному лагерным голодом (говорили, что он рылся в лагерных помойках), но при этом спокойному и доброжелательному. В разговор, да еще так страстно, он вмешивается впервые.

— Ты что? — удивляется заведший эту бодягу. Вроде тут выходить из себя было не с чего. Не спорить же всерьез о том, почему кого и за что сажают. Что «не факт»?

Но Чванов не унимается. Ведь речь идет о том, из-за чего ему испортили жизнь. От волнения он даже встал во весь рост в своем углу.

— Не хфакт! — убежденно повторяет он. И убедительно разъясняет: — Я неграмотный!

Избу сотрясает гомерический хохот. Все присутствующие без Чванова знают, что образование тут ни при чем, как ни при чем тут все что угодно. Большинство из них — жертвы «тридцать седьмого года». Но и остальные — два поляка, пан Станислав и пан Лендэк (мы называли его просто Ленья), арестованные в тридцать девятом или сороковом, когда поляков в «освобожденных» местностях под-

метали под метелку, — тоже это знают. Но все всё равно хохотали. Это был катарсис — все, что произошло с ними, в судьбе Чванова предстало в наиболее адекватном, то есть гротескном виде.

Впрочем, поляки хотя бы знали, что сидят за то, что они поляки, что СССР помог немцам уничтожить их страну и теперь преследует их как ее граждан. Конечно, их очень тянуло называть СССР Россией и говорить: «Россия в который раз разделила Польшу», но такие «мероприятия», как арест и наказания людей по такой дикой, нечеловеческой причине (а так это и было) не ассоциировались даже с тем отталкивающим образом России, который исторически существовал в сознании многих поляков. Но как бы дико и противоправно ни было это «объяснение», у них все-таки было объяснение. У остальных и такого не было — сидели потому, что посадили, потому что не повезло.

Например, Ваня Смородин, с которым я потом сошелся ближе. Родился он в какой-то глухой приуральской деревне — то ли в Башкирии, то ли в Оренбургской области. Семнадцати лет приехал в город Белебей (неподалеку от Уфы) и поступил в тамошний зооветтехникум. И учился старательно, и выучился бы. Но год, к его несчастью, был тридцать восьмой. Крутом разоблачали врагов. Ваня об этом слышал, но интересовался мало — грыз гранит науки. Но однажды утром за завтраком в техникумовской столовке один из студентов шепотом спросил его:

— Знаешь такого-то, с четвертого курса?

Вопрос был обычный, и Ваня ответил не задумываясь:

— Знаю. А что?

Но обычное на этом кончилось.

— Его сегодня ночью арестовали, — сообщил студент. Но и на этот скользкий лед Ваня ступил с простодушным бесстрашием. И отреагировал на него естественно, по-деревенски, по-человечески:

— Жалко... Вроде хороший парень...

Но время было нечеловеческим, и следующей же ночью Ваню арестовали. Белебеевскому райотделу НКВД тоже надо было выполнять разнарядку\*. Большинство тогда сажали за

---

\* Сегодня у многих есть тенденция не верить таким действительно неправдоподобным, но реально действовавшим «нормам» того времени (сила советского строя была в его неправдоподобии). В связи с этим я вынужден сослаться на документ. Называется он «Приказ Народного



придуманные прегрешения, а здесь по сравнению с ними был реальный состав «преступления»: выражение сочувствия и симпатии к разоблаченному органами НКВД врагу народа (согласно внушаемой в те годы аксиоматике понятия «арестованный органами НКВД» и «разоблаченный» были синонимами). Все это нелепо и фантазмагорично, но свой «червонец» Ваня Смородин получил и отсидел вполне реально. В день ареста ему было семнадцать, а когда его «выпустили в ссылку» — двадцать семь. Весь его жизненный опыт был лагерный, все воспоминания — о лагере.

Таким был Ваня Смородин, «враг народа» и довольно типичная «жертва тридцать седьмого года». Такой же жертвой был уже упоминавшийся «неграмотный» Чванов. Такими же жертвами были, как уже сказано, все остальные члены нашей «команды». Тот факт, что остальные были более грамотными и развитыми, чем эти двое, ничего не меняет — к «политике» они имели такое же отношение. И справка для интересующихся: евреев в этой команде, состоящей из «набора» тридцать седьмого года, тоже не было. Кроме меня, но я к этому «набору» не относился.

О том, что я считаю несчастьем для страны и приход к власти «старой гвардии», и такой ее разгром (замену сталинщиной), я уже не раз писал. Но здесь этой «гвардией» и не пахло. Не устану демонстрировать, что «чистки тридцать седьмого» касались не только коммунистов, тем более не только евреев коммунистов, как некоторым теперь хочется думать, а кого угодно. Наверху Сталин и до этого потихоньку вытеснял евреев, но это мало кто замечал, даже евреи. И массовые репрессии конца тридцатых антиеврейской направленности тоже не имели. За антисемитизм тогда еще вполне могли и посадить («подрыв дружбы народов СССР»). Конечно, и это обвинение тогда чаще тоже бывало лож-

---

комиссара Внутренних дел СССР № 0047 от 30 июля 1937 года» и подписан Ежовым. Полная фотокопия этого приказа впервые опубликована в книге Е.Альбац о КГБ в качестве приложения. В нем по графам указано, сколько в какой области людей (не определенных, а по неопределенным признакам) должно быть в короткий срок отправлено в лагерь, а сколько расстреляно. Номер приказа фигурирует в решении Военной Коллегии Верховного Суда РФ в качестве одного из оснований для отказа его автору Ежову в реабилитации. Было это, господа. И Ваня Смородин был. А может быть, он и сейчас еще есть, может, Господь вернул ему отнятые у него годы.

ным — такой был стиль работы ежовского НКВД, — но речь сейчас не об этом, а о составе нашей команды.

В ней не было ни одного интеллигента. Но дело не в отсутствии интеллигентности. Покойный Владимир Максимов, вышедший из рабочей среды, рассказывал мне, что его дядья и отец были рабочими, но, выпив, иногда спорили до мордобоя об анархо-синдикализме. Среди тех, с кем я тогда жил, за такое никто бы никому морду бить не стал — не волновали этих «политиков» такие материи, чурались они таких терминов и тем.

Морду, правда, у нас один раз все-таки набили. Причем до крови. И не кому-нибудь, а Ване Смородину. Но не за политику, а за самоутверждение. За то, что упрямо врал, будто пил газированную воду, которой в глаза не видел — в Белебее до войны она, видимо, не продавалась. Как началось, не знаю, меня в это время в избе не было. Когда пришел, мои сожители лежа перебрасывались осудительными фразами по поводу Ваниного упрямства. Тут я и услышал о газировке. Ваня вошел в избу через минуту после меня. Вошел молча, зажимая платком кровоточащий нос. Остальные поучающе молчали: дескать, не спорь со старшими и более опытными. Наказание явно превышало прегрешение. Но нервы у всех были слишком напряжены, и их несоразмерно раздражило Ванино азартное упорство в противостоянии их опыту и памяти. Не выдержали. Другого смысла этот эпизод не имел.

Впрочем, однажды прозвучала угроза избияния и на политической почве. Исходила она от поляка, пана Лендэка (Лени), и относилась ко мне. Видимо, я высказал свои взгляды на мир и на нашу судьбу, и они его закономерно возмутили. Видимо, он полагал, что при таких взглядах я могу и «настучать».

— Я вообще вас (имелось в виду евреев) и так не люблю, но будешь мне такое говорить — смотри!

«Стучать» я не собирался, хотя по логике своих взглядов и боязнь потерять свою ложную верность и совсем оторваться от любимой творческой власти был бы должен. Это противоречие вскоре поставило меня перед страшным выбором и чуть не погубило мою душу. Удержался я на самом краю бездны.

Вскоре после возвращения в Чумаково я встретил на улице старшего лейтенанта Патрушева и оказался его по-

путчиком. Начался разговор, самый обычный, с банально-го вопроса: «Как живешь?», на который, как всякий зануда, я стал отвечать подробно — рассказывать как близкому по взглядам человеку о своих духовных муках. Реакция его была поразительной. Он вдруг остановился, повернулся ко мне и объявил:

— А в Америке тебе все равно было бы хуже!

И дальше стал мне (но думаю, что больше себе самому — он ведь тоже был человеком) объяснять, что все не так просто:

— Ты что думаешь, среди вашего этапа нет враждебно настроенных людей? Есть!

Я честно согласился: думаю, что есть, — не врать же товарищу по борьбе.

И тут в нем проснулся работник МГБ.

— А кто?

Я ответил, что точно не знаю, только чувствую. Но он этим не удовлетворился. Заговорила должность.

— А насчет кого чувствуешь?

И я дошел до крайней точки своего падения — назвал Леню. Естественно, Патрушев и этим никак не мог удовлетвориться — последовал уточняющий вопрос:

— А из чего это видно? Что он такое говорит?

Я прекрасно знал, из чего это видно и что говорил Леня, но тут, так же как в нем эмгэбист, во мне проснулся экз. Да, в Лене я чувствовал врага всему, что любил и во что любой ценой старался верить, а эмгэбистов считал духовно более близкими себе людьми (лубянский консилиум по вопросу о том, как верней меня погубить, видимо, отодвинулся в моем сознании на задний план), но все равно Леня был моим товарищем по несчастью, и все во мне восставало против такого предательства, против такого способа решения идеологических разногласий. Этого я сделать не мог — вопреки всем моим взглядам и помимо логики. И тяга к откровенности покинула меня. В последний момент. Ибо только теперь я стоял у последней черты. Ведь все, что я говорил до сих пор, было хоть и отвратительно, но не было компроматом, а в отличие от тридцать седьмого года тогда уже — и я это знал — для ареста недостаточно было ощущений и подозрений — их к «делу» не подошьешь. Требовался компромат — конкретные высказывания или поступки, пусть даже выдуманные. Короче, я знал, что все ска-

занное мной до сих пор реально еще Лене ничем не грозило. «Честный ответ» на последний вопрос Патрушева перенес бы меня через эту грань. Но при всей моей любви к откровенности и даже хорошем отношении к Патрушеву я не мог сказать правды — Бог замкнул мои уста.

И я «нечестно» ответил, что при мне Леня ничего такого не говорил. Я ничего не знаю — просто ощущение.

— Вот видишь, — сказал Патрушев, — не знаешь, а мы обязаны знать!

Он опять решал какую-то свою психологическую проблему — доказывал себе важность своей деятельности.

Ничего страшного из этой моей беседы не могло произойти и не произошло. Леня спокойно жил и работал в Крещенке, а через год-полтора его вообще отпустили в Польшу. По дороге он заезжал в Чумаково оформлять документы, и мы встретились на улице. Вполне дружески. За это время я стал как бы совсем другим человеком, на самом деле — самим собой. И я ему рассказал и о том, что от той чепухи, которую молол, уже года полтора ничего во мне не осталось, но добавил, что я все равно перед ним виноват, и рассказал, в чем — передал ему свой разговор с Патрушевым.

— Ерунда, — сказал великодушно Леня, — а конкретно ты ему ничего не рассказал?

— Конкретно нет, — ответил я. — Сказал, что ты при мне ничего такого не говорил.

— Тогда это вообще чепуха! Ты просто ему ничего не дал. Забудь.

Юридически он, конечно, был прав: я ему ничего дурного не сделал и — вопреки мировоззрению — старался не сделать. Но вспоминать об этом все равно тошно. Тем более что у меня нет оснований валить вину за этот эпизод на Патрушева. Он меня не вызывал, не вербовал, ничего не пытался.

Это я сам так сохранял свою цельность и верность своей диалектической вере. Царство Божие безусловно берется с бою. Но в «идейные времена» с бою иногда берется и царство сатаны. Это когда душа рвется к Богу, но ей внушен идейный долг подавлять это естественное стремление души. И более того, она считает это делом чести. Это крайняя степень несвободы — самому корезить свою душу во имя

верности какой бы то ни было идее. Тем более страху остаться без нее!

На дворе тогда был год 1948-й, шли последние недели моего одурения сталинщиной. Должен признаться, что такая психологическая коллизия, в общем виде свойственная молодежи моего поколения, редко в ком из этого поколения (а тем более возраста) доходила до такой остроты, какая была у меня. Я как бы хватался за традиции молодежи «славных двадцатых» и начала тридцатых годов, традиции, если можно так выразиться, «последней идейности». У нашего поколения была унаследованная верность этой идейности, точнее, ностальгия по ней, дотлевающие угольки былого пламени. Это не странно, ибо, как я уже говорил, у нас тоже не было иного представления о духовных ценностях. Но фанатизма не было.

Это, конечно, хорошо, но утопия требует фанатизма — отсутствие фанатизма без отказа от утопии примиряет с повседневной ложью. Фанатизм не был мне соприроден, но я им спасался от этой лжи и был неуместно логичен. К счастью, не до конца. Это равнение неизвестно на что было свойственно тогда почти всем, кто пытался мыслить. Вячеслав Кондратьев рассказывает, как нашел в своем доверенном, совершенно личном дневнике фразу о том, что одна из самых важных задач, стоящих перед ним, — побороть в себе пережитки мелкобуржуазной психологии. Тогда это было написано всерьез, а теперь он прочел эти строки и удивился, ибо не мог понять, что он тогда имел в виду.

Но хватит об этом. Этот эпизод, как ни неприятно мне теперь его вспоминать, не занял большого места в моей жизни. Бог и на этот раз меня спас.

К счастью, мой противоестественный роман со сталинщиной скоро кончился. Конечно, полностью свободным человеком я стану только через девять лет, но от сталинщины, от крайней степени несвободы, в которой я жил и задыхался последние несколько лет, от противоестественного, навязанного самому себе долга перед подлостью (и неловкости из-за невыполнения этого долга) я освободился вскоре. Только уже не в Кульче, а в библиотеке райцентра. Туда и переходит теперь мое повествование.

В райцентр, в Чумаково, я рвался чем дальше, тем сильнее — в Кульче мне уж совсем ждаться для себя было нечего, а там — районная столица. Однажды я даже захотел уйти

туда один пешком, и Миша Зонов даже грозился меня застрелить, если я это сделаю. Но я этого не сделал. Почему, не помню, но не из-за этой угрозы. Конфликта, в общем, не получилось, и с Мишей у меня все два с хвостиком года сохранялись дружеские отношения. Я и теперь сохраняю добрую память о нем. Но потянуло меня тогда уходить уже перед самым отъездом. Дня через два нас как-то (как, тоже не помню) перебросили в Чумаково. В деревню, где я в общем и прожил безвыездно все эти два с хвостиком года ссылки.

## *Деревня под названьем Чумаки*

### **Общее описание и первые знакомства**

Название подглавки пришло из стихотворения, которое я написал вскоре после прибытия сюда. Вот оно:

Деревня под названьем Чумаки.  
Вокруг лежит сибирская Россия...  
...Какие с Украины мужики,  
Ища земли, зашли в края такие?  
Они прошли тяжелый, торный путь.  
Им ноги жег сухой песок и камень.  
И чтобы вышутить свою судьбу,  
Они село назвали Чумаками.  
Стояло солнце очень высоко,  
Почти не грея... Только степь горела...  
А все дороги вольных чумаков  
Лежали там, где это солнце грело,  
Где не осталось больше ничего.  
Лишь только боль... Лишь только соль, пожалуй.  
А здесь земля лежала без всего —  
Как жаждущая женщина лежала.  
Лежит земля, и вовсе нет людей —  
Лишь только коршун замер в смертном круге.  
Паши и сей. И заводи коней,  
Хоть как-то наспех заслонясь от вьюги.

По-моему, я его нигде не печатал, но теперь мне захотелось привести его полностью. В основном оно навеяно ретроспективными ассоциациями, вызванными чувствительным для выросшего на Украине человека словом «чумаки». Больше ничего украинского в этой абсолютно русской деревне не было. Только несколько не запомнившихся

мне «обрусевших» фамилий на «ков» (вроде Коваленков), где проглядывали украинские корни. Но выражение «сибирская Россия» мне и доселе дорого. Хотя «Сибирь ведь тоже русская земля» существовало задолго до моего рождения. Какую-то реальность и жизни вообще, и моего тогдашнего самоощущения это стихотворение все-таки в себя вобрало. Причина достаточная для того, чтобы привести его в мемуарах.

Но к описанию своей собственно деревенской жизни я приступаю с некоторой робостью — впечатления разбегаются... С одной стороны, я, как уже здесь говорилось, деревенским человеком за эти два года, конечно, не стал, даже не становился. И именно поэтому одним из факторов, влиявших на мое состояние, был ужас, вызванный вполне возможной перспективой быть задержанным здесь навсегда. Происходил он не из боязни «похоронить себя в глуши», а из-за полной неприменимости, неспособности себя здесь прокормить. Этот страх всегда висел надо мной. Он определял многое в моей тогдашней жизни, но не все. Была еще и другая сторона — я стал чувствовать деревню, серьезность жизни ее людей, а через это — и жизни вообще. Ценность человеческой личности, в частности, — любой личности, а не только «сложной» или «интересной». И это неудивительно: деревня ведь ближе к истокам бытия, чем город.

А кроме того, здесь наглядней проявлялось, лучше было видно, что происходит с Россией сейчас и произошло вообще, и это, как показало будущее, для меня было очень важно. Сталинщина казалась вечной, а моя жизнь — особенно временами — лишенной перспектив, но в глубине души я все равно надеялся жить и состояться. И как губка впитывал все, что я там видел и чувствовал. Как бы впрок. И конечно, мой деревенский опыт — неотъемлемая и ценнейшая часть моей биографии, моего нынешнего внутреннего мира. Не тематически — ни изображением, ни воспеванием деревни я никогда не занимался. Это не моя стезя. В понимании, детальном знании, а тем более в изображении деревенской жизни я (даже если бы был прозаиком) никак не могу конкурировать с талантливыми авторами «деревенской прозы»: Они уже давно все это описали. И к этому описанию мне, в общем, нечего добавить. Но я пишу не прозу, а мемуары. Пишу о том, как это виделось мне и на мне отражалось, как это соотносилось с развитием моих

представлений о жизни и ее ценностях. Разумеется, я буду говорить и о деревенской жизни. Не думаю, что жизнь эта будет выглядеть у меня иной, чем у них, или даже по-иному оценена. Просто я буду рассматривать ее сквозь призму другого опыта, другими глазами. Не противореча этим авторам, но и не дублируя их. Надеюсь, что это тоже может представлять интерес.

Конечно, не меньше места занимали в моей тамошней жизни и дружеские в основном отношения с другими ссыльными, а их все прибывало. Этап за этапом. Кстати, пока мы трудились в Кульче, в райцентр прибыл еще один этап. В них самые разные люди, пути которых в нормальной жизни вряд ли бы пересеклись. Например, примерно за год до моего отъезда прибыл этап эстонцев, в основном эстонской интеллигенции. Там проводилась чистка по правилам доселе никому не понятной сталинской социальной (на самом деле антисоциальной) гигиены. Прибыли они семьями и держались особняком, но вскоре стали входить в торговые отношения с остальными — торговать красивыми, с узорами и другими рисунками, варежками и носками, которые их жены вязали из шерсти, присылаемой невысланными родными из Эстонии. Люди они были приятные, но замкнутые, и я о них, к сожалению, мало знаю. Сенсацией было прибытие в ссылку матери Попкова, главного действующего лица вымышленного «ленинградского дела» — она прибыла с одним из последних при мне этапов. Впрочем, о самом «ленинградском деле» мы ничего не знали — но было удивительно, что сажают и представителей сталинской знати. За что? Ведь не идейные или идеологические расхождения могли быть у них со Сталиным! А ведь арестовали как больших. Даже мать — не причастную, естественно, ни к взлету сына, ни к его падению — выслали. Словно она сестра какого-нибудь Тухачевского (которую тоже не за что было арестовывать, но это другая тема). Мы еще не понимали, что просто маразм набирал силу. С матерью Попкова я знаком не был, даже не видел ее ни разу (может быть, ее в Чумаках и не оставили). Говорили, простая женщина крестьянского типа.

Сенсаций больше не было, а экзотики и без эстонцев хватало. Еще этапы, еще люди, еще характеры, еще трагические истории. Это были люди разных слоев и уровней развития, разного, но всегда нелегкого и чаще непрямого



жизненного пути. Но общие обстоятельства, общая беда проявлялись на частных судьбах по-разному, часто очень причудливо. Пригнали, например, однажды повторницу, еврейку из Западной Украины (владела чем-то — она или отец). Не успела она осесть, как вслед за ней приехал добровольно ее муж. Мы о нем так и говорили: муж-декабристка. С той только разницей, что никакой Сенатской площади за ними обоими и в проекте не было. Хотя и он отсидел свое и тоже мог оказаться повторником (за то, что тоже сам или через отца владел чем-то вроде магазина).

Все эти обстоятельства, впечатления и тревоги — вместе и порознь — влияли на мое взросление и возмужание, все это интересно и важно, но одно практически неотделимо от другого, составляло единую жизнь. И с чего начинать о них рассказ — непонятно. Но начинать придется.

Начну с деревни, точнее, с райцентра. Ибо Чумаковым, как я потом узнал (сам бы не догадался), называлась только северная (правобережная) его часть. Вдоль левого же (южного) берега речки Омь (по-местному Омки) тянулась двумя порядками, как и Чумаково, другая деревня — Ушково. Улица была длинной, но этой прибрежной улицей Ушково и исчерпывалось. В Чумакове же были еще две или три улицы, параллельные прибрежной, а также одна перпендикулярная им. На ближней параллельной располагались почти все районные учреждения. В правом ее торце, если стоять спиной к Омке, на единственной перпендикулярной улице стояло двухэтажное здание райкома-райисполкома, в левом — одноэтажное, но аккуратное здание МГБ. С этой стороны улица соединялась с прибрежной маленьким перпендикулярным проездом. С правой стороны этого проезда лицевой частью к прибрежной улице стояло здание и усадьба клуба, а с левой — чуть по диагонали, как я уже говорил, в торце параллельной улицы — здание МГБ. Проездик этот уже за параллельной улицей как бы замыкался зданием милиции. Обе деревни близко к речке подходили только в одном-двух местах, а на остальном своем протяжении отстояли от нее метров на двести—пятьсот. Но воду брали из речки, носили на коромыслах. Колодцев до приезда ссыльных почти не было. Соединялись эти деревни мостом, который в паводок снимали, чтоб не мешать лесосплаву, то есть прохождению плотов, заготовленных где-то выше по течению, в районе Крещенки, в «урмане» — то

есть в тайге («урман» по-татарски — «лес») — как самим крещенским леспромхозом, так и лесозаготовителями, командированными предприятиями и учреждениями прилежащих к речке районов. В том числе и нашего.

Наш Михайловский район находился на стыке лесостепи и тайги. Лес тогда заготавливали в районе Крещенки, километрах в семидесяти от Чумакова, но с севера тайга подходила почти к самим Чумакам. Пусть не вплотную, но довольно близко. Может, теперь там давно все вырублено — это вполне могло произойти и при доперестроечном государственном, и при постперестроечном частном хищничестве. Но при мне и сразу после меня там никаких лесозаготовок не производилось.

Я забыл сказать, что ни в одной из деревень района, где мне пришлось побывать, вздыбленных изб, на которых пастся скот (как в первых двух по дороге со станции в Чумаково), не было.

Но была одна особенность в этих деревнях. В них не было зелени. Издалека они не зеленели, а чернели — бревнами изб и других строений. С непривычки это удручало. А когда привык, возникло удивление. Конечно, фруктовым садам в Сибири неоткуда взяться, но ягод — малины, смородины, черемухи — в окружающей тайге полно. Обсадить свой участок такими кустами по межам мог каждый. Но почти никто этого не делал. Предпочитали раза два за лето сходить в «урман» и принести лукошка два. Не думаю, что это последствие коллективизации — если б это было раньше, что-нибудь бы да осталось. Но этого не было и в помине. Оно, конечно, сибирская неприхотливость, но зачем жить без ягод и зелени? Этого я и теперь не знаю.

Еще меня угнетала свекла. Но здесь «неприхотливость» уже, скорее всего, была последствием внедренной безынициативности. Свеклу здесь из года в год сеяли, но какую-то белесую, выродившуюся, похожую на кормовую. Словно бы другая здесь не росла. Но на следующий год ссыльным родные прислали семена, из которых свекла вырастала настоящая, свекольного цвета. И те аборигены, с которыми они делились, охотно их брали, сажали и были этим довольны. А ведь хватило бы одной восьмикилограммовой посылки на весь район: закажи и пользуйся, но некому было проявить инициативу. Думаю, что раньше свекла эта обновлялась, об этом заботилось сельское общество. Или

хотя бы легендарный лавочник Абрамович, живший, по преданию, в этой деревне. Советская власть при Сталине прикончила и общество, и Абрамовича, и теперь позаботиться о семенах было некому. Вот и привыкли к выродившейся.

Но это уже мысли и наблюдения чуть более позднего времени. А пока я только привыкаю к черноте здешних деревень — мы ведь только вернулись из Кульчи. Там мы были временно избавлены от необходимости решать свою судьбу, а теперь она снова стоит перед нами, особенно передо мной, в прежней остроте. Я даже не знаю, оставят ли меня в райцентре. Впрочем, мне это обещали, и судя по всему — оставят. Но все же пока меня это беспокоит. Впрочем, и начальство понимает, что мне нечего делать в леспромхозе.

Да это и не такой важный для него вопрос — в принципе оставляют всех, кто хочет. Принцип простой — где человек нашел работу, пусть там и живет. Но я нигде не нашел. Таких лучше оставлять при райцентре, все-таки пристроить легче. Тут все-таки учреждения, даже маленькие предприятия, а в остальном районе, кроме леспромхоза, только колхозы да несколько маслозаводов. А что мне делать на маслозаводе? Да там и штаты укомплектованы — хлебное место.

К слову, масло этих маслозаводов было невероятно высокого качества. Более вкусного я никогда не ел. Это то самое «барабинское масло», которое увозили во Францию, а потом привозили в Петербург и продавали там под названием «парижское». Местные коровы были малолитражны — в лучшее время давали не больше восьми литров молока в сутки. Но молоко было очень жирным и вкусным. А у каждого хозяина было по несколько десятков таких коров. Теперь в лучшем случае одна. Во всем колхозном стаде — не больше, чем раньше у одного не самого лучшего хозяина. Но это сказывалось на количестве молока, а не на его качестве. И поэтому (как теперь, не знаю) не на качестве масла.

Разумеется, такие диаграммные «Вчера и сегодня», жившие в сознании и памяти каждого, в отличие от пропагандистских стендов с таким заголовком (в тридцатые годы их ставили в каждом скверике), действовали. Конечно, больше всего на старшее — помнящее — поколение. Не зря ведь существенная часть довоенной пропаганды работала на компротетацию «отсталого сознания» старших. У «честных коммунистов» эта подрывная пропаганда как бы оправдыва-

лась идеей создания нового человека (для чего вообще требовался подрыв всех старых основ бытия), а Сталину после коллективизации это нужно было только прагматически — он вообще воевал с памятью. Впрочем, во время войны «прагма» потребовала другого, и забивание памяти приобрело другие формы — прошлое стали подменять и возвеличивать. Правда, больше насчет воинских традиций. Но общее положение в деревне было таково, что молодежь сама стала прислушиваться к старшим, помнящим другую жизнь. И даже делать какие-то выводы. Ни к чему, правда, не ведущие — деревня была давно уже разгромлена и обескровлена, — но и не таящиеся.

### Первые контакты — сплошная «пятьдесят восемь/десять»

С тем, что тут никто никаких своих жизненных впечатлений и выводов не таит, я столкнулся почти сразу, в первые минуты обживания Чумакова. Вернулись мы, по моим расчетам, четвертого ноября, аккуратно перед праздниками. В клуб нас больше не пустили, но временно поселили в разных местах. Может, большинство сразу отправились в Крещенку — не помню. Ваня Смородин почему-то не поехал. Может быть, рассчитывал пристроиться здесь, что вполне могло быть. Забегая вперед, скажу, что потом все-таки поехал. Видимо, понял, что в леспромхозе сможет намного больше заработать. Но это потом. А пока меня с ним поселили в райпромхозе. У нас ничего не было. В МГБ нам выдавали деньги на хлеб — по рублю, кажется, в день. И все. Но у нас было несколько картофелин. Мы их купили на деньги, вырученные мной за давно не стиранную рубашку. Какой-то парень подошел к нам, увидел ее и предложил за нее какие-то деньги (или прямо эту картошку — не помню) — в деревне с мануфактурой было плохо, — и я с радостью согласился. Рубашка была грязной, денег (или картошки?) он за нее давал мало, но намного больше нуля, и вечером Ваня в каком-то чугушке сварил нечто среднее между картофельным супом и просто картофелем. Было очень горячо и вкусно. Наутро я зашел на почту отправить срочное письмо домой с просьбой выслать телеграфом деньги по адресу (откуда взялись деньги на письмо — не помню). И вдруг милостивая, городского вида девушка, которой я

отдал конверт (ее звали, как я потом узнал, Аня Баранова), взглянув на обратный адрес, выхватила из пачки письмо и сказала:

— Это вам.

А когда я, поблагодарив, собрался уходить, крикнула вдогонку:

— Вам еще перевод. Спросите в том окошке, где телеграф.

И я получил перевод на целых сто рублей! В городе эти деньги были ничтожны, но для тогдашней деревни, особенно для нас с Ваней, — это была сумма. Отсутствие у нас паспортов препятствием для получения денег не явилось — по возвращении из Кульчи мне выдали в МГБ филькину грамоту — листок газетной бумаги, где было сказано, что такой-то, имярек, является административным ссыльным, находится под гласным надзором органов МГБ, не имеет права выходить за пределы райцентра и обязан являться на регистрацию в райотдел КГБ два раза в месяц в такие-то числа (вскоре в связи с ростом международной напряженности количество регистраций увеличили до трех)\*. Обратная сторона этого листика была разграфлена на клеточки — места для отметок о явке на регистрацию.

Так что документ у меня был, и деньги мне выдали. Это было радостно. Но встал вопрос, куда девать этот капитал. Ведь впереди были чуть ли не три праздничных дня, а жили мы почти что на улице. Оставить их было негде, а таскать с собой страшно — их можно было потерять. А потерять такой капитал в нашем положении — значило потерять вдруг появившуюся возможность продержаться. Выручила та же Аня Баранова. Услышав, о чем мы с Ваней беспокоимся, она по-женски просто вывела нас из затруднения:

— А вы идите, пока не поздно, в сберкассау — а то она скоро закроется. Вон она, напротив. Там и положите эти деньги. После праздников возьмете.

Мы так и сделали, оставив себе рублей тридцать. Но в связи с этим я впервые столкнулся с реальным проявлени-

\* Это не острога, а принцип сталинской карательной политики, ее «театра для всех». В лагерях в связи с нюансами международной политики ужесточали и смягчали режим. И даже с важностью говорили об этом. Вели, так сказать, борьбу. Так, в двадцатые годы в ответ на какую-нибудь «ноту Керзона» расстреливали профессоров — нанося, так сказать, ущерб враждебному классу в целом. Кровавые ритуальные игры идеократии.

ем отношения местных жителей к «современной действительности». В данном случае жителей молодых.

За окошком и здесь сидела миловидная девушка. Вообще среди местных девиц были девушки с вполне интеллигентными, даже аристократическими лицами. И только когда они начинали говорить, становилось ясно их происхождение. Впрочем, Аня Баранова говорила правильно и чисто, а как говорила эта девушка, я не помню. Я ее вообще не помню, помню двух парней, которые, стоя у окошка, развлекали ее. Я для них явился поводом для нового развлечения...

— А ты откуда? — спросил меня один из них.

— Из Москвы.

— А что там делал?

— Был студентом.

— Где учился?

— В Литературном институте Союза писателей.

До сих пор шел обыкновенный треп, которому я не придавал значения. Но реакция этого парня на мой последний ответ была для меня неожиданной и из ряда вон выходящей.

— А, писатель, значит? — догадался парень. И тут же добавил: — А ты тут про нас напиши — еще дальше поедешь!

Парни и девушка захохотали. А я только смотрел на них раскрыв рот и молчал. Только что при мне в государственном учреждении была произнесена фраза, за которую не глядя применяли статью 58/10 и отваливали червонец, а никто — кроме меня и Вани, конечно, — этого не понимал! Ведь почти никто из ссыльных, отсидевших свои «червонцы», да хотя бы тот же Ваня, не сказали ничего равного по наказуемости. Тем более публично, тем более в государственном учреждении, тем более — так резко и уверенно. И вдобавок это еще было встречено сочувственным смехом присутствующих. Такая пожива для лубянского мифотворцев пропадала, такие широкие горизонты это открывало перед любым честолюбивым проверяющим из Центра (будь он на моем месте)! Как минимум групповое дело — антисоветская организация. А поскольку ее пропаганда достигла таких успехов, подумать только — дошла до рядовых людей (на то, что такие «высказывания» — отражение реальности их жизни, не могли намекнуть и высокие адресаты проверяющего — их бы самих включили в эту организацию), то в

духе времени должно было «стать ясно», что она широко разветвлена и что во главе ее стоят и «покрывают» ее (тоже любимая гэбистская формула) руководители района. А может, и области. Налицо — крупный антисоветский заговор, раскрытый благодаря бдительности проверяющего. Не следуют ли его за это министром?

Но «проверяющих» из Москвы сюда не присылали. Я не слышал ни об одном таком деле (в послевоенные времена). Конечно, знаменитое «ленинградское дело», вероятно, задело и районные кадры, но по другой причине — «заговор» сочиняли тогда по чисто верхушечной схеме. У нас в районе за время моего пребывания посадили трех человек, но колхозников и просто местных жителей среди них не было. Один из них был пожилой и спокойный немец по фамилии, кажется, Тиц, который после десяти лет лагеря вряд ли проявлялся активно — видно, тут поработал какой-то стукач из ссыльных. Второй была полуурка, оставшаяся с мужем от первого этапа, по-моему, от него остались только они и еще один человек, — она во время танцев на новогоднем вечере в клубе лихо проорала какие-то непочтительные частушки о Сталине. Третьей была тоже женщина, причем очень экстравагантная — о ней еще будет речь. Она отказалась подписаться на заем и весьма недвусмысленно объяснила причину своего отказа комсомольским активистам, предложившим ей это, — комсомольцы обиделись и донесли. Как видите, все арестованные у нас за политику были ссыльные. Колхозников не трогали.

Они, видимо, и так воспринимались как наказанные.

Только потом я понял, что если бы сельских жителей арестовывали по статье 58/10, то в стране просто бы не осталось сельского населения. И что вообще с деревней настолько не стеснялись, настолько откровенно выжимали из нее последние соки, что даже не требовали от нее обязательной для прочих граждан верной любви к партии, правительству и товарищу Сталину. Не бунтуют, и ладно — темнота! Было ли это сознательным решением верхов или просто воздействием ситуации на функционеров, не знаю. Но такое впечатление, что среди колхозников даже не вербовали стукачей. А если и вербовали, то те не знали, на что доносить. Ибо и сами брякали в том же духе — «по жизни».

Все это я понял довольно скоро — в деревне такие высказывания звучали на каждом шагу, но, конечно, еще не тогда. К этому надо было привыкнуть. И лучше познакомиться с деревенской жизнью. Впрочем, вскоре произошло событие, в этом смысле еще более потрясающее.

Мне и даже Ване делать пока было нечего. И есть тоже. По-видимому, мы продолжали жить в райкомхозе, где днем шла обыкновенная конторская работа. Так что днем нам и пищу себе приготовить было негде. И вообще деваться было некуда. Приходилось слоняться без дела. А это и скучно, и неприятно. Правда, я стал много времени просиживать в библиотеке. Но одно дело сидеть там, потому что хочется или надо по делу, а другое — потому что деваться больше некуда. У Вани и этого отвлечения не было. Теперь он уж явно собирался в Крещенку, но всё машины не было.

Мы ежедневно являлись к Патрушеву для получения денег на хлеб и узнавания новостей о нашем трудоустройстве. Однажды он нам предложил:

— А может, пойдете поставить плетень Марине Прокофьевне? Она вас и покормит.

И объяснил, что Марина Прокофьевна — жена начальника МГБ, капитана Кошелева, ныне находящегося на курсах.

Я растерялся — никакой способности ставить плетни я за собой не знал. Но Ваня взял инициативу на себя и согласился.

— Правильно, — погасил мои сомнения Патрушев, — а ты, Мандель, будешь ему помогать.

— Конечно, — сказал Ваня. — Не бойся. Я тебя научу.

И Патрушев взялся за телефонную трубку:

— Прокофьевна! Я тебе сейчас двух мужиков посылаю — плетень ставить, — примешь? Ну, хорошо. Бывай, — и повесив трубку: — Ну, идите. Вон, по правой стороне второй дом от угла.

И он в окно указал нам на этот дом. Мы вышли.

— Не бойся! — сказал мне Ваня на улице. — Я все сделаю, а ты когда надо будет, подсобишь.

Наперед скажу, что надобность в моей помощи возникла редко.

Дом начальника МГБ был действительно вторым от угла по той улице, которая была параллельна прибрежной, пер-



вым был дом начальника райотдела милиции Шевченко. Согласно топографии обе усадьбы задрами должны были примыкать к задрам клубной усадьбы, но так ли это было в реальности — не помню. Могли и чьи-то огороды врезаться между ними.

Но фасадной стороной дом начальника МГБ выходил на ту улицу, по которой мы шли. Напротив этого дома стояло двухэтажное здание школы-десятилетки, а правей, через несколько домов от школы, — почта. А еще через дом или два улица кончалась, создавала, как теперь говорят, Т-образный перекресток, точнее, упиралась в здание райкома-райисполкома. От сберкассы до дома, куда мы шли, было домов четыре-пять. Улица эта была широкой, но короткой. Собственно, это и был райцентр. Здесь были расположены главные учреждения, здесь же и жил районный бомонд.

Слово в данном контексте странное. С ним еще могла бы как-то ассоциироваться жена секретаря райкома Шейкина, преподавательница литературы. Откуда-то я слышал, что преподавательницей она была хорошей и культурной. Так ли это, не знаю — завязать какие-либо коллегиальные отношения с женой секретаря райкома нам по ее положению было не то что опасно (для обеих сторон), а просто невыгодно. Но к ней, возможно, это иностранное слово в каком-то, на худой конец в ироническом смысле, могло бы иметь отношение.

К Марине же Прокофьевне, к которой мы шли, супруге одного из районных тузов, это французское определение не шло никак. При этом я не хочу сказать о ней ничего не только плохого, но и иронического. Я сохранил о ней самую теплую и уважительную память. Она была женщиной властной (не по положению мужа, а по характеру), но умной и доброй. Ни дать ни взять — мать-командирша. По положению гэбисты не имели права посвящать жен в подробности своей деятельности. Она и не вникала в них. Разве что «как следует» принимала у себя начальников мужа, когда те приезжали в служебные командировки. Своим делом она полагала вести дом и хозяйство. И то и другое у нее было в образцовом порядке, дети были ухожены и воспитаны. Нас она приняла очень приветливо и радушно. Когда мы пришли, показала, где надо ставить плетень, но через корот-

кое время позвала обедать. По природе она была простой русской бабой. Кормила часто, вкусно и сытно. Расспрашивала, выслушивала наши истории, сочувствовала, жалела нас и наших родителей. Никакой настороженности и даже осторожности она не проявляла. Словно это дом не начальника МГБ, а какого-нибудь врача или агронома, женившегося на простой женщине. Дети — мне запомнилась девочка лет тринадцати, но, кажется, был еще и мальчик — относились к нам тоже сочувственно и с любопытством — особенно ко мне как к представителю культуры и знания. Не ведаю, куда их потом занесло в жизни и кем они стали. Должность и судьба отца (его уволили из органов в годы «восстановления ленинских норм») могла поставить их в ложные отношения с людьми и ценностями. Жаль, если так случилось. Это были хорошие дети, и я не хотел бы, чтобы на их судьбе как-нибудь — влиянием или последствиями — отразилась должность, на которую выдвинули, которой соблазнили их отца.

Работа наша продолжалась несколько дней. В один из этих дней я и стал свидетелем сильной сцены, имеющей прямое отношение к затронутой мною чуть выше теме. Конюх райотдела Василий Непомнящих (дядя Вася — приходившийся в самом деле дядей Мише Зонову) привез Марине Прокофьевне бочку воды, сгрузил ее и поставил на место. Это он делал каждый день — снабжать работников райотдела водой было одной из его обязанностей. Обычно никаких разногласий по этому поводу не возникало. Но в тот день Марина Прокофьевна собиралась устроить постирушку. И поэтому, увидев дядю Васю, она выскочила на крыльцо.

— Василий, — обратилась она к нему, — привези мне еще бочку — я стирать буду.

В этом тоже не было ничего необычного. И реакция дяди Васи тоже была соответственной.

— Ладно, — ответил дядя Вася. — Только погоди маленько, завезу сначала Патрушеву, потом Лесничему (Лесничих — новый молодой сотрудник райотдела, кажется, лейтенант), а уж потом опять тебе. Тебе ить я уже одну привез.

Судя по начавшемуся диалогу, отношения дяди Васи с женой всесильного начальника МГБ были вполне простецкие и свойские. И это нисколько не коробило Марину Прокофьевну, выглядело в ее глазах вполне естественно. «Ко-

робило», точнее, заедало ее другое — что воду ей привезут не по первому требованию.

— А я тебе говорю, привези сначала мне! Я стирать буду.

— Нет, — стоял на своем дядя Вася, — сначала надо Патрушеву, потом Лесничему, потом тебе опять.

И тогда вырвалось на волю то, что на самом деле волновало Марину Прокофьевну:

— Ишь вы какие! Коля уехал, так думаете, плевать на меня можно? Над семьей его измываются?

— Никто не измывается, — продолжал дядя Вася разъяснять ситуацию. — Завезу. Только сначала Патрушеву, потом Лесничему. И тебя не забуду. А ты пока из этой бочки бери. Завезу же.

Слова были разумны, но Марину Прокофьевну, видимо, и впрямь заело.

— Ах ты, гад! — кричала она вне себя от ярости. — Сви-нья неблагодарная! Забыл, как мы с Колей тебя от колхоза спасли? Забыл? Ишь ты, Коли нет — и измываться стал. Ну, погоди, придет Коля, я ему скажу — мы тебя обратно в колхоз отдадим — подыхай там!

Кричала она это в самом центре районной советской власти, в двух шагах от МГБ и милиции, в пяти от райкома-райисполкома, рядом с домом начальника милиции. Ну, допустим, начальник милиции (мы с ним однажды разговорились — не о политике, конечно) не был ни стукачом, ни интриганом. Но ведь по улице ходили люди, разные, кто-то из них мог быть и интриганом, и достаточно грамотным, чтобы сообщить властям предержавшим, как клеветает на советскую власть и колхозный строй жена того, кто по должности обязан следить, чтобы «фактов подобных высказываний», тем более публичных, не было. Ведь из ее слов выходит, что колхоз — это место, где подышают, от чего спасают и куда опять могут отдать — на заклятие. Куда уж дальше? И о колхозе, и о власти.

На дядю Васю эти угрозы жены начальника желанного впечатления не производили. То есть он, конечно, знал, что колхоз — это именно такое место, от которого его спасли. И перспектива быть отданным назад в колхоз не очень расходилась в его сознании с выражением: «И подыхай там!» И знал, что хотя теоретически «отдать его назад в колхоз» уже нельзя (после того как его «от колхоза спасли», он стал

относиться к привилегированному сословию «рабоче-служащих»), но если всемогущий начальник МГБ захочет, то отдаст. Все это было для него очевидностью, которую знают все. И вряд ли дядя Вася в словах Марины Прокофьевны видел какую-нибудь крамолу — ведь говорила она вещи общеизвестные, само собой разумеющиеся. И если при этом он продолжал спокойно стоять перед ней, переминаясь с ноги на ногу, и на все ее филиппики и угрозы иронически повторять:

— Ишь ты! Ишь ты! Ну конечно! Сейчас же! Тебя послушали! — то только из уверенности, что начальник — серьезный человек, мужик и такой гадости ему из-за бабьего каприза никогда не сделает. Тем более что воду-то он все равно хоть в очередь, но скоро доставит, и баба успокоится. И был, конечно, прав. Как в оценке общего положения, так и в отношении Марины Прокофьевны. В том, что ее не боялся. Она была вспыльчива, но вряд ли сама кому-либо делала зло — непосредственно или через «Колю».

Этот внешне смешной эпизод я вспомнил здесь не для того, чтоб рассказать о том, как дядю Васю обижает жена его всемогущего начальника. Их взаимоотношения достаточно человечны. Оба они простые люди, а люди (и не только простые) иногда и не из-за такого ругаются. И если это не имеет последствий, кому какое до этого дело. А эта перепалка не имела последствий — дядя Вася занимал свою высокую должность и через два с лишним года, в день своего отъезда из ссылки.

Страшно не это, страшна та система отношений, которая встает за этой перепалкой, где кого-то можно «отдать» и «не отдать», где о том, что со всех полос и экранов объявляется верхом благоденствия, говорится: «от колхоза спасли» и «подыхай там!» — и все эти слова понимают однозначно, как констатацию очевидности. И терпят это, и служат этому, и воспринимают это как порядок вещей.

Так, еще ничего не узнав и не увидев, я получал представление о мире, где мне предстояло жить. Я и до того боялся попасть в колхоз, но главным образом не потому, что там плохо (хотя слухи доходили), а потому, что он был мне не по силам и не по сноровке. А тут это получило статус общепринятой констатации.

И все же безнаказанность Марины Прокофьевны была отнюдь не столь абсолютна, как для большинства остальных

ных местных жителей, то и дело «допускавших антисоветские высказывания». Она была такой же, как они, но положение ее было другим. На них давно плюнули, а на нее могли и обратить внимание. Возможно, начальники и коллеги ее мужа хорошо к нему относились, но ведь при квалифицированном доносе они могли и испугаться обвинения в покровительстве и сочувствии. И тогда бы и ей, и ее мужу не поздоровилось. Видно, просто Бог ее хранил.

Работали «мы» (конечно, «мы пахали», но все-таки и я при Ване) несколько дней, и все время Марина Прокофьевна относилась к нам по-человечески, исправно подкармливала нас. Но работа кончилась, и больше я никогда ее не видел. Это странно, живя в одной деревне, но это было так. Может быть, потому, что скоро вернулся ее муж, а частные отношения политического ссыльного с семьей начальника МГБ — вещь нелепая. Но я ее и на улице ни разу не встретил. За два года. Так получилось. Но вспоминаю я ее все равно хорошо и благодарно. За ее естественность и доброту.

После окончания этой работы Ваня Смородин почти сразу уехал в Крещенку, и больше я его тоже никогда не видел. И мало что знаю. Только смешной эпизод, рассказанный мне милой интеллигентной женщиной из нашего этапа. На воле, в Москве, она была учительницей литературы, а в Крещенке работала в бухгалтерии леспромхоза. Из-за Вани там возникла целая история. Шла подписка на заем, а Ваня ни за что не хотел подписываться. Его долго мытарили, уговаривали, уламывали и так, и сяк — отказывался. Для руководства это было неприятное ЧП — он срывал всю кампанию, портил показатели. И вот какой разговор произошел в ее присутствии в главной конторе.

— Ну чего ты упорствуешь? — сказал ему то ли парторг, то ли директор. — Выгоды своей не понимаешь! Ну, подумай сам. Ну, отдашь ты свои сто рублей. Но ведь выиграть можешь десять тысяч. А то и все сто!

— Не хочу обманывать советскую власть, — ответил Ваня.

— Что он, не в себе? — комментировала его слова рассказчица.

Нет, Ваня был вполне нормален и разумен. Немного только наивен, потому что весь его жизненный опыт (отрочество, юность и молодость) ограничивался лагерем. Ему действительно было жалко денег, не хотел сам себе сни-

жать зарплату. Больше он ничего не имел в виду. И хитрил. Я думаю, что его не посадили тогда за эту простодушную хитрость только потому, что сочли блаженным (или выдали за такого — способных прямо и равнодушно погубить ближнего было и тогда не так уж много). Но так или иначе, он был хорошим человеком — честным, работающим, доброжелательным, всегда готовым подставить свое плечо более слабому (например, мне). Таким он и остался в моей памяти.

Власть, которая способна сажать в тюрьму по политическому обвинению, всерьез допрашивать и десять лет держать за это в лагере такого человека, не стоит того, чтоб о ней говорить. Но приходится. Отнюдь не все действительно разумно.

### Райпромкомбинат. Первая неудача

Примерно в тот же день, когда Ваня узнал, что есть машина, и, быстро собравшись, уехал в Крещенку (навсегда из моей жизни, но не из памяти), Патрушев договорился о том, что меня примут на работу в райпромкомбинат. И началось мое внедрение в местную жизнь.

Зачислен я был «разнорабочим». Видимо, слово «чернорабочий» было за неприличие из официального языка исключено — слова «социализм» и «черные работы» как-то плохо подходили друг к другу. А тут «разное», намек на некоторую творческую универсальность. Тем более что самому «контингенту», который занимался этими работами, на название было наплевать. Правда, местные жители, занимаясь этим, обозначали иногда свою «должность» или «круг обязанностей» как — «начальник кто куда пошлет». Но чаще говорили проще: «Я (он, она) на физической работе». Интересная деталь тогдашней сельской психологии — ни на трактористов, ни на слесарей МТС, ни на плотников, ни на столяров, ни на какое-либо вообще ремесло понятие «физическая работа» не распространялось. Характерный разговор:

— У меня брат на МТСе работает.

— Кем — трактористом или на станке?

— Не, он на физической. Не учился, так теперь что...

Вот на «физическую работу» меня и устроили. Не от подлости, не для издевательства, а просто потому, что больше

некуда было. Теперь я ночевал в конторе райпромкомбината. На первых порах ночевали там со мной еще несколько ссыльных, работавших на комбинате. Один из них был сапожник, который успел уже здесь жениться и развестись, другой просто мужик и еще два татарина — Боря и Юра. Оба были ребятами добрыми и сильными. Особенно отличался большой физической силой Боря. Незадолго до моего появления на комбинате с ним произошел следующий анекдотический случай. Парни из близлежащей деревни Вялково (километра три восточнее Чумакова) пришли его бить, дабы отучить гулять с нашими девками. Пришли и стали толпой у крыльца, вызвали Борю. Боря вышел, высокий, сильный, страшными глазами молча обвел эту толпу и прорычал:

— У-ух, хор-рошо!.. Д-дав-в-н-но я что-то ч-человеч-чины не пр-р-робовал!

И толпу вялковских мстителей как ветром сдуло.

Навели Юра с Борей страх и трепет и на председателя сельсовета Себякина. Правда, без театральных угроз. Просто Юра однажды пришел к нему по делу, касающемуся и Бори, и возник у них с Себякиным какой-то конфликт. Председатель решил взять Юру «на горло», поставить зарвавшегося ссыльного на место.

— Вы по какой статье сидели? — грозно спросил он.

— Мы? Пятьдесят восемь пункт восемь.

— А что это значит?

— Террор, — пояснил Юра.

— А кого же вы убили? — снизил тон Себякин.

— Председателя сельсовета, — невинно ответил Юра.

Председатель вовсе не был глуп, но когда здесь «действовала банда», такие факты отнюдь не были абстракцией и газетной романтикой. Мало ли что — с такими лучше не зарываться. И он тут же (от греха подальше) выдал Юре требуемые бумаги. Кстати, я совсем не уверен, что у этих ребят действительно была эта статья, а если даже была, сомневаюсь, что они действительно кого-то убили — ведь реальное политическое или квалифицированное как политическое убийство означало бы для них расстрел и исключало бы нашу встречу. Скорее всего, Юра просто разыгрывал председателя с целью получить нужное ему, и в этом преуспел. У меня с этими ребятами были хорошие отношения, они даже немного меня опекали. Потом Боря совер-

шил нечто неполитическое (что, не помню, но явно не подлость), за что его арестовали. И в местном КПЗ он сидел вместе с прокурором Шевченко (о нем чуть позже), которого привезли на суд и которому от Бори, как я слышал, здорово там доставалось. Не ведаю, знал ли об этом Боря, но, как увидит потом читатель, Шевченко это заслужил. Не как представитель системы, а сам по себе.

А пока жизнь меня воспитывала, и отнюдь не во вред мне. По-моему, в первый же вечер (или днем в воскресенье) произошло никем не замеченное по своей обыденности, но очень значительное для моей жизни событие, весьма важное для моего развития и самосознания. И при этом очень простое — в том и вся соль. Случилось это так. Мы начали готовить ужин (лагерники готовили хорошо), и один из поваров вдруг между делом обратился ко мне:

— Наум, возьми вон в углу два ведерка и набери воду из проруби.

Он сказал это просто, вовсе не стремясь меня испытать или озадачить, а тем более воспитать. Просто понадобилась вода, а тут я подвернулся. Он и обратился ко мне, как ко всякому другому. Он и внимания не обратил на эти свои слова. Сходить за водой, в его представлении (и на самом деле), было делом самым простым — бабы легко справлялись, а я хоть и не ахти какой, а все же мужик. Но я внутренне похолодел.

Райпромкомбинат стоял в правом, если по течению Омки, конце деревни. Речка тут вплотную подходила к его строениям. Но к ней надо было спуститься по косогору, по размокшей глине, ступить на лед (летом на мостки), потом набрать воду и вернуться тем же путем с полными ведрами в руках. Я знал, что все это не проблема для любого мужика, бабы, девки или парня. Но ведь не для меня! Как я это проделаю? Я ведь не умею! В общем, воспринял я это предложение катастрофически. Я? С ведрами к реке? Из проруби воду? Мне эта задача казалась невыполнимой. Однако проявить свою растерянность я не мог — уж слишком это всеми вокруг воспринималось как ничто. И я взял ведра и пошел. Спускаться по глинистому косогору было не совсем просто, но при некотором напряжении вполне возможно, а возвращаться с водой еще проще — тяжесть придавала устойчивости — и я, внутренне торжествуя, вернулся в контору.



Мой подвиг и мое торжество никем не были замечены и оценены. Только тот, кто меня послал по воду, буднично и опять между делом сказал: «Поставь их вон там, у печки», — и это было мне высшей наградой. Потом мне приходилось носить воду и за три улицы, и на коромысле (что легче, но мне тоже до этого казалось чем-то очень хитрым и сложным), но это уже никогда не ставило меня в тупик и не воспринималось как проблема или победа.

То же было и на работе. Мне вдвоем с кем-то дается задание — перенести длинную, широкую и высокую — в общем, нескончаемую — поленницу дров на другое место, метров на тридцать—сорок. Это дело тоже поначалу представляется мне чем-то вроде подвига Геракла, требующего вмешательства богов или мифологических героев. А себя я к таким вовсе не отношу. Приступаю я к работе как к чему-то, чему конца не будет. Но охапка за охапкой мы переносим и укладываем поленья, и не сразу, но метр за метром сокращается одна поленница и вырастает другая. И чем явственней это видно, тем спорое движется работа. К обеду поленница уже споловинена, к концу дня (а иногда к обеду следующего дня — зависит от поленницы) ее уже нет. И становится ясным, органически входит в сознание и мироощущение смысл русского присловья: «Глаза страшатся, а руки делают».

Занимался я и какими-то другими работами. Все это было очень благотворно в плане общего моего формирования и развития личности — в общем, во многих отношениях. Но сказалось это не тогда и не там. А сказавшиеся там экономические результаты моей работы были плачевны — заработал я рублей шестьдесят и порвал две рубашки стоимостью как минимум в сто двадцать. И мог бы повторить (только с большим основанием) за Колей Глазковым то, что он сказал, отработав день на мучном складе, куда его пристроили, чтобы поправить его материальные дела: «И я понял, что если так будет продолжаться, то я умру с голоду». И уволился.

Когда я отправлялся за разрешением в МГБ, работавший на промкомбинате китаец Коля попросил:

— Пойдешь в ЫМГЫБЭ, скажи насиальника Патылу-сава, один китайса в пыломкомбината тозе хочета в лесы-пылухоза ехатя.

Почему он сам не мог пойти к начальнику и попроситься в Крещенку — не знаю. Ему бы в леспромхозе точно было бы лучше, а таким переводам не препятствовали. Лишь бы человек был при месте.

Но все это было потом, когда я уже жил на квартире. А пока я жил в конторе и знакомился с людьми. В конторе, где я спал, часто задерживался бухгалтер, солидный человек, по-моему, раненый фронтовик. Звали его все по имени-отчеству, но я их забыл. Человек он был умный, явно честный, но ему, как он выражался, не хватало образования. Например, он не умел обращаться с дробями. Но он обходился и без этого образования, ибо виртуозно владел обыкновенными конторскими счетами и производил на них самые головокружительные операции. С удовольствием мне это демонстрировал, поскольку поначалу относился ко мне несколько настороженно, как к человеку более грамотному. Потом прошло.

Безусловно и это — исторический тип, человек и поднятый, и обделенный, ученный и недоученный «культурной революцией в СССР». На уровне бухгалтера райпромкомбината он вполне справлялся со своими обязанностями. Но сколько таких людей, оторванных от корней, от своего уровня, но не вышедших на другой уровень, хотя и выдвинутых на еще более высокий (большевики, и особенно Сталин это любили), вынуждены были защищать свое (на самом деле, не свое) место в жизни, инстинктивно навязывая свой уровень всей жизни и культуре. Их комплекс неполноценности выразился в той какой-то непререкаемой надменности, которая застыла в их глазах на их портретах. Но это рассуждения об историческом типе. У этого бухгалтера ничего подобного не было, был он человек скромный и добросовестный. И отношения у нас сложились хорошие.

У него я однажды видел ведомость на зарплату (кажется, он попросил меня что-то проверить и пересчитать) и прочел в ней полное, как всем вокруг, вероятно, казалось, имя китайца Коли, что меня, конечно, очень позабавило. И вот чем. Звали Колю по-китайски, допустим, Кай Линджун. Не знаю, есть ли такое китайское имя (точнее, имя и фамилия вместе), но я говорю только о фонетической схеме — откуда взялся «Коля». В лагере для краткости и понятности он приспособил свое, допустим, «Кай Лин» под Колю.

Но здесь «Кай Лин-джун» было, конечно, принято за фамилию. Это естественно — я до пересылки тоже так считал. А раз так, то нельзя же было, чтоб человек в официальном документе числился только по фамилии. Тем более что все знают, что он Коля. Но опять-таки — не именовать же человека в официальном документе «Коля» — он не маленький. Вот и появился в ведомости «Кай Лин-джун Николай». Так «Кай Лин» (или нечто подобное) превратился в Николая. Впрочем, на «Николая» Коля и в быту откликался вполне естественно. Деревенские люди в разговорах, обращаясь друг к другу, часто употребляют полные имена. А «Николая» уважали — работник он был отменный и безотказный.

В совершенно невероятных его рабочих качествах я убедился года через полтора, когда некоторое время опять вернулся на комбинат и работал при пилораме — вместе с Колей подносил и закреплял бревна, подлежавшие распиловке. Эта работа лимитирована пропускной способностью машины, и я с ней в общем справлялся. Но однажды возникла потребность очистить яму, куда сваливались опилки, и Коля вполне простодушно предложил это сделать мне. Я не менее простодушно взял деревянную лопату, залез в яму и стал выбрасывать оттуда опилки вверх. Это было мне очень тяжело, набиралось трудно и мало, опилки летели обратно, мне в лицо, я быстро упарился, а дело шло медленно. Если шло вообще.

— Ты сиево делаиси? Отойди! Не так надо! — крикнул мне Коля и, прыгнув в яму, отобрал у меня лопату. И — заработал. Но как заработал! Я видел, как выполняют тяжелую работу русские, когда хотят, и работа спорится (участвовал тоже, но без соответствия). Работают хорошо, с азартом, красиво. Но Коля работал не так — он работал, как экскаватор, который в начале работы включили на полную мощность, а в конце выключили. Ажрик страшно стало. Такой работы я больше нигде и никогда не видел, хоть по миру поездил достаточно. Такой он был работник. Естественно, и относились к нему соответственно.

Николай вообще вращался в жизнь сибирской деревни. К тому времени он, по-моему, уже был женат на местной женщине и вполне обжился. Его чудовищный русский язык все понимали, и он всех понимал. О политике он обычно не разговаривал, но не скрывал, что недоволен советским

уголовным кодексом. Собственно, не кодексом вообще, а тем, что там есть статья о контрабанде.

— Сито такой контылабанда? — искренне возмутился он. — Я купила, тебе нада, ты купила — сито такой контылабанда!

Из этого я заключил, что за Колей почти за единственным из встреченных мной все-таки было нечто, содержащее хоть какой-то состав преступления. Разумеется, наказание намного превысило преступление, но у других и преувеличивать было нечего. Правда, удивительно, что не воспользовались возможностью вклеить ему и шпионаж — он ведь нарушал нашу границу, а тогда внушалось, что такое совершается только с целью шпионажа или диверсии.

Много позже я однажды слышал от одного из уроженцев тех мест, что контрабанда на Дальнем Востоке до войны никогда не прекращалась. Старики из его деревни и из окрестных приграничных поселений, зная места и имея давние связи, запросто ходили через границу за китайской дешевой водкой, и, наверное, не только за ней (правда, до войны — при коммунистах ходить стало не за чем). Как говорил этот человек, пограничные власти знали про это, но мирились, не видя в этом особой опасности. Видимо, старики особо не нагличали, обслуживали только самих себя, а контролировать всю границу у командования все равно не хватало сил. Может, эти связи и тропы использовались самим командованием — ведь наши разведчики тогда ходили в Харбин и дальше (это я знаю от бывших харбинцев, живущих в Америке). Но, видимо, какие-то меры против того, чтоб эти «местные контакты» не стали взаимными, судя по Колиной судьбе, все-таки принимались. А может быть, Коле просто не повезло. Но вообще в моем сознании не укладывалось, что можно из экономических соображений идти на такой, я бы сказал, тотальный риск.

Рядом с главным зданием тогда (потом комбинат разросся и даже был перенесен в другое место) была расположена небольшая избушка. В ней жили и работали двое ссыльных. Оба они были моими друзьями, хотя помню я только фамилию одного (Тихомиров) и имя другого — Леша. Тихомирову шел пятый десяток, относился он к жертвам тридцать седьмого. Был он то ли инженером, то ли техником, но главным образом — народным умельцем, причем

таким, который любил и умел применять книжную премудрость на практике. Сейчас он занимался организацией мелкого кожевенного производства — потому его сюда и взяли. Леша был его помощником и ассистентом.

За что посадили Тихомирова — забыл. Было какое-то банальное глупое обвинение — политикой он и теперь не интересовался. Был умен, порядочен, не шибко образован, но и совсем не темен. Может быть, в прошлом был военным. Однажды зашел разговор о войне, не о конкретной, а вообще. Я что-то говорил о роли сознательности.

— Конечно, но в конкретной ситуации еще что-то. Вот помню, во время Гражданской войны я стою перед красноармейцами, положение тяжелое, я им что-то разъясняю. Слушают, но все подавлены, и поделаться я ничего не могу. Не действует. Но служил со мной один бывший кадровый офицер, он взял меня тихо за руку и говорит: «Нет, так не пойдет. Не так надо. Вот смотри!» И вышел вперед, встал, бравый, строгий, оглядел строй и сразу: «Здорово, орлы!» Только и всего. Но орлы это ж не вороны! — все и встрепнулись. Ну а дальше сказал то, что следовало.

Из этого выходило, что он воевал в Красной Армии. Но на миг мне почему-то показалось, что происходило это все в армии Белой. Но отношения моего к нему это не изменило. Его в этом эпизоде привлекала не ориентация, а профессиональность, знание дела.

Леша, его помощник, не имел никакого отношения к тридцать седьмому и отсидел не «червонец», а только пять лет — тогда ведь и впрямь казалось, что это «только». Но история его была более красочной. Году, кажется, в сорок втором он попал в плен. Голодать ему не хотелось и, когда предложили, согласился поступить в германскую разведшколу. Окончил курс и, не возбуждив подозрений, был заброшен куда-то под Самару с рацией, шифрами, документами, пятью тысячами рублей и заданием. Распорядился он этим так. Рацию до времени спрятал, деньги в спешном порядке пропил (чтоб зря не пропадали), а потом явился в ближайшее отделение милиции и доложил. После чего и получил свои пять. Он говорил, что и все, кто так поступал (а их было немало), получали столько же. За что? Родине они не изменяли и не собирались изменять, вреда ей не приносили и не собирались приносить, наоборот, прино-

силы сведения о противнике, шифры и если не явки, то пароли. Они ведь шли и приходили к своим. На этом основании наша разведка могла успешнее вести дезинформирующие радиогры с противником. В любой стране им бы спасибо сказали. Но наша была подчинена паранойе Сталина, а у него, как мне уже приходилось отмечать, не было своих.

Раз человек попадал в плен, а не кончал самоубийством, значит — он изменил лично Сталину и подлежал государственной мести. Видимо, наряду с убеждением, что все простые люди по природе и обязанности должны были быть в него влюблены, в его сознании не умирало подозрение-понимание, что особых оснований для такой любви у них нет. Отсюда следовало, что человек, насмотревшийся на то, чего советским людям видеть не положено, обязательно должен был прельститься этим и вполне мог прийти с заданием. В связи с чем Леша автоматически получил свой «пятерик», потом не менее автоматически, как все лагерные «политики», ссылку до особого распоряжения (благодаря чему мы теперь и встретились), а через год, по получении этого «распоряжения» — тоже как все наши лагерники — ссылку вечную.

Это действовала черная наивность параноика. Голубая наивность игнорирует и не понимает дурных человеческих качеств, а черная — хороших. И то и другое ведет к просчетам. И наоборот. Вождь стимулировал подлость, но подлость и его предала, когда прошло его время.

Естественно (для меня тогдашнего, а вообще противостоительно), хотя я и сочувствовал Леше, все-таки считал происшедшее с ним малозначительным на фоне имеющих быть великих свершений.

Но это не сказывалось на личных отношениях. В тех условиях людей сближает не мировоззрение, а человеческая суть — порядочность, человеческая достоверность. С Тихомировым и с Лешей я сразу подружился, мы вместе готовили пищу, вместе ели, много разговаривали. Хорошее отношение и доверие друг к другу сохранялись у нас и потом, когда мы общались уже не так тесно и часто.

Заканчивая рассказ о райпромкомбинате — о первой попытке моей трудовой деятельности в ссылке, — я не могу обойти молчанием двух его руководителей — замдиректора

Александра Иванова (все его звали просто Сашей) и директора Светюкова — имя-отчество забыл. Не как о руководителях — по своей производственной незначительности в производственные отношения с ними я не входил, — а как о людях. Начну с Саши Иванова.

Был он фронтовиком и инвалидом войны, вернулся с фронта без руки. Но при этом совсем не выглядел инвалидом. Ни по повадке, ни по виду, ни по общему впечатлению. Был он очень силен физически, высок, строен, держался прямо, и если случалось, никакой физической работой, несмотря на свое положение и медицинские показания, не брезговал. Скорее брезговал обращаться к кому-то по мелочам — говорю о производственных, а не о личных нуждах. Разве что просил подсобить, когда не было другого выхода. Например, меня один раз, когда понадобилось распилить бревно. И даже стойчески вынес мое неумелое партнерство — ровно пилить я так никогда и не научился. Сказывалась естественная для него благородная снисходительность более сильного к более слабому. Но была у этого сильного и гармоничного человека противоречащая всему этому слабость — не врожденная, а благоприобретенная: вывезенный им то ли с фронта, то ли из госпиталей антисемитизм.

Выражался он в основном декларативно.

— Везде я бывал, всяких людей видел, хуже еврея никого нет.

Каких евреев он видел, что они ему или на его глазах другим сделали — он при мне никогда не прояснял. Помоему, он их вообще видел мало и вряд ли бы знал, что я еврей, если бы я сам не сказал и если б это не значилось официально. Скорее всего, я был первый еврей, с которым он непосредственно имел дело. И однако, та фраза: «Везде я бывал, всяких людей видел, хуже еврея никого нет», — чаще произносилась именно при мне и со значением, с желанием меня задеть и обидеть — не за то, что я совершил, а за то, чего от меня, по его представлениям, следовало ждать. Он как будто искал во мне доказательств правдивости своего предубеждения.

И при этом реальный факт — что я плохо умел пилить — не воспринимался и не выдавался им за мою хитрую попытку уклониться от работы, хотя вроде бы это само напрашивалось... И понятно почему. Это происходило на его

глазах, как бы вместе с ним, он чувствовал мою напряженную добросовестность и неловкость и относился к этому по-доброму — опять-таки как сильный к слабому. Но без всякого повода, вообще — он про меня «все знал и понимал». И позволял себе высказывать это.

А однажды, через год или два, он это реальное доказательство моего непотребства получил. Произошло это так — в жаркий вёдренный день, в самую страду, когда все вокруг были на работе, он обнаружил меня лежащим раскинув руки на травке у одного из домов строящейся деревенской улицы. Это возмутило его до крайности. Не административно — я уже давно не работал в райпромкомбинате, — а просто по-человечески.

— Ты что лежишь? Работы, что ли, кругом мало? И как не стыдно! — лежит, и хоть бы что! Трютень!

Не знаю, знал ли он, как правильно произносится это слово, но «трютень» вместо «трутень» как-то особенно резко выражало его презрение и отвращение. Больше всего его раздражало и приводило в ярость то, что, несмотря на все эти филиппики, я так и продолжал лежать, раскинув руки. Это ему казалось крайней наглостью. А было это крайней усталостью. Мы в это время строили дом, под солнцем месили глину для самана, и я совершенно выдохся.

Мы с товарищем оторвались от работы, нам надо было сходить по делу, он зашел по дороге — по делу же — к знакомому, а я его ждал и пока отдыхал. За этим грязным делом меня и застал Саша. И небось лишний раз убедился, что все, что он о «них» слышал, — правда. Он не знал, в чем дело. Если бы знал, воздержался бы от своих филиппик. То, что я устал, работая на себя, а не на государство, его бы не оскорбило. Во-первых, строительство дома для себя было в его глазах делом серьезным (а кому ж его строить), а во-вторых, он прекрасно понимал, что моя работа при моей производительности имела смысл только при строительстве собственного дома (или в порядке помощи другому), ибо там — что ни сделаешь, все на пользу, поднес кирпич — и хорошо, он назад не вернется. А то, что не так быстро и не так много, — не суть важно. Работа конечная. Все помощь. А работать так на производстве — проработаешься. Он мог попросить меня подсобить, когда пилил, но вряд ли ему бы пришло в голову определить меня в пильщики. Раздражало его не то, что я работал на себя, а что,



как ему казалось, совсем не работал, лодырничал. Мне до сих пор жаль, что он так ко мне относился, видел и в упор не хотел понимать, что я есть я, а не то, что он слышал неизвестно о ком. Жаль, что произошел этот досадный эпизод с «трютнем». Жаль, потому что я до сих пор ощущаю Сашу Иванова хорошим и даже справедливым человеком. Больно сознавать, какую большую власть над людьми и человеческими отношениями иногда приобретают внушение и предубеждение.

Директор райпромкомбината Светюков был человеком совсем иного склада и калибра, чем его заместитель. Не скажу даже, умнее — тот тоже не был и не казался глупым, но сложней и образованней. На нынешнюю свою должность он был смещен с поста председателя (или заместителя председателя) райисполкома — следовательно, относился к районной партноменклатуре.

Кстати, о партноменклатуре — не в связи со Светюковым. Именно в Чумакове я впервые столкнулся с этим явлением и даже словом — в Москве это было не столь наглядно. Любой снятый с должности — в том числе за пьянство и развал работы — районный руководитель (если речь о номенклатуре районной) никогда не превращался в ничтожество, а переводился на другую, тоже руководящую работу. Не так уж редка была такая картина. Ходит по селу некий деятель, которого только что со скандалом сняли, а на вопрос: «как дела?» с достоинством отвечает, что ему еще не подыскали подходящую работу, — та же, которую предлагают, ему не подходит. Конечно, слишком много выкобениваться нельзя было — «решала партия», а ей следовало подчиняться, — но все-таки. Принадлежность к партноменклатуре (правда, с этим я столкнулся не тогда, в Чумакове, а чуть позже, в Караганде) иногда освобождала и от уголовного преследования. Объявлялось, что человек уже получил партийный выговор, а это для коммуниста (особенно воровавшего или бравшего взятки. — *Н.К.*) страшной любого другого наказания. Его и не наказывали. Еще это у них считалось чутким отношением к человеку. Забывали только добавить: «принадлежащему к номенклатуре».

Интересна история этого термина. В одном документе, извлеченном из Смоленского архива и датированном началом тридцатых, Западный (Смоленский) райком ВКП(б) сообщал районным руководителям, что в связи с ухудше-

нием продовольственного положения часть актива приходится снять с дополнительного снабжения. Предлагался ряд мер для смягчения их участи. В заключение предписывалось «номенклатуру товарищей», оставляемых на дополнительном снабжении, представить в крайком к такому-то числу. Так что номенклатура с самого начала — это товарищи по снабжению (или другим привилегиям). Видимо, так это началось, а потом привилось и развилось, стало неграмотной сталинской попыткой создать опору трона — правящее сословие наподобие дворянства. Дворянства из него не получилось. У дворянства было больше личных прав и гораздо меньше безнаказанности. Получился — особенно наверху — клубок змей. Прежде всего потому, что в такой атмосфере лично нуждался создатель номенклатуры. А из клубка змей сословия не создашь.

Но Светюков был не сословием, а человеком, и человеком, мне симпатичным, — в сословие вообще попадали люди, и о каждом следует судить отдельно. Я согласен судить сословие, но не согласен судить за принадлежность к нему. Тем более что у многих тогда она складывалась стихийно, они попадали в него, заранее даже не подозревая о его существовании — просто росли по службе (а куда еще было девать свою активность, тем более в таком Чумакове?) и на каком-то уровне оказывались в сословии: получали ежемесячные тайные конверты с дополнительными зарплатами, другие секретные блага и... некоторую «непотопляемость». Разумеется, многих это развращало, но как кого.

Безусловно, я вызывал любопытство Светюкова — вызвал еще до Кульчи, на «смотре» в МГБ. Может быть, даже тем, что он почувствовал искренность моих интеллектуальных усилий оправдать строй. А человек, за плечами которого был опыт председателя райисполкома, очень нуждался в таком оправдании. И мы несколько раз осторожно беседовали — применяли к нашей действительности марксизм, насчет которого он тоже что-то соображал.

Однажды я спросил его, почему теперь (я знал это по газетам) идет борьба за расширение посевных площадей. Ведь людей не хватает. Не лучше ли сконцентрировать их на меньших площадях, но интенсивней обрабатывать поля? Он ответил — этого ответа я никогда не забуду:

— Внешне вы правы... Но диалектически получается, что выгодней расширять.

Так вот — думаете, я рассмеялся (хотя бы в душе)? Нет, я понимающе кивнул. Конечно, представить этого я себе не мог, но многое в нашей жизни получало объяснение только через «диалектику». Я привык к этому. А он? Думаю, что тоже. Конечно, он мог так ответить мне просто чтоб отвязаться — разговор приобретал опасноватый оттенок. Тем более это было в тон мне. Но ведь вопрос этот был реальным и не мог не вставать перед ним и до этого разговора. Его ответ, как и мое согласие с ним, были глупостью. Но как мы еще могли объяснить себе это глупое мероприятие? «Мы» — потому что при всей разности наших биографий и «статусов» он находился в том же положении, что и я. И думал — а склонность думать у него была — примерно так же, как говорил.

Конечно, деятелю сталинской эпохи сподручней было бы вообще не думать — но не все это умели. И старательно думали глупости. Как я, например. И как секретарь райкома Шейкин, к которому я приходил однажды за помощью как к единомышленнику. Он тоже не был темен, не показался жлобом, но тоже отговорился какой-то диалектикой. А что ему было еще делать? Сковырнуть советскую власть или Сталина? Но ведь я и сам бы тогда наотрез отказался участвовать в таком предприятии. Мы все ходили под Богом, точнее, под тем, кого принимали за Бога — под его имитатором. А имитатор Бога (Imitator Dei) — это, как известно, дьявол, сатана. Кто-то из нас потом из-под этого выбрался, кто-то навсегда в этом погряз. Но это уже не имеет отношения ни к Светюкову (дальнейшая судьба которого мне неизвестна), ни к райпромкомбинату.

### Просветление во тьме

Эта глава или подглавка очень важна для меня. Она о том, как я отказался от своей «личной версии» плененности сталинщиной. Поскольку она была усложненной, то и освобождение от нее было непростым. Вероятно, и рассказ об этом будет утяжеленным — тут без общих рассуждений не обойтись. Но я ведь и пишу для тех, кому это интересно. Итак, продолжаю.

К моменту ухода из промкомбината я жил уже на частной квартире. Ее нашла мне Б.Г., которая не раз будет поминаться в этой главе. Познакомила меня с ней моя одно-

этапница Лида Стасюк, бывшая студентка Ленинградского института физической культуры им. Лесгафта, а сама Б.Г. прибыла в Чумаково, когда мы были в Кульче — со следующим после нас этапом. Как с Б.Г. познакомилась сама Лида, к этому времени работавшая медсестрой на периферии (в дальней деревне Черный Мыс), — не помню. О существовании Лиды я узнал раньше, чем получил какое-либо представление о ней. В Свердловске на пересылке на стенке прогулочного дворика я прочел интригующую записку (или просто надпись): «Лида Стасюк едет в Новосибирск». Познакомился я с ней только на станции Кожурла. Она оказалась очень милой, еще молодой женщиной около тридцати лет. И тоже жертвой тридцать седьмого года. Тогда ей соответственно было около двадцати. Она и теперь была очень недурна, а тогда — и говорить нечего. Короче, она наслаждалась всем этим: молодостью, здоровьем (как-никак студентка Института Лесгафта), красотой, производимым впечатлением. Никакой вольности поведения у нее не было и в помине — да это и не в моде было тогда, — но она очень любила танцевать и вообще светскую жизнь. Не только о политике, но и о том, что вообще происходит рядом, не думала. Именно поэтому она с радостью откликнулась на чье-то — кажется, какого-то финского гражданина — приглашение провести вечер в финском консульстве. Она имела там успех и стала исправно посещать тамошние вечера и особенно «файф-о-клоки». И — цвела. Тем более что до определенного времени это допускалось. Но она пропустила рубеж, когда это время кончилось. И ничего не поняла, когда однажды в институте ее вызвали к выходу, а когда она вышла, там никого не оказалось, кроме трясущегося от страха швейцара.

На следующую, кажется, ночь ее арестовали. Естественно, как финскую шпионку. Не помню, дали ей полный шпионаж или только ПШ (подозрение в оном), но это и неважно — на сроках заключения это различие не отражалось. Такими и были в основном жертвы «патриотического» (по мнению нынешних националистов) «тридцать седьмого». Не относилась она ни к еврейской, ни к революционной, ни к интернационалистической среде. Более того, отец ее до революции служил боцманом на императорской яхте «Штандарт». После войны его стали даже за это «подни-

мать» как ветерана русского флота, а тогда это еще не котировалось — тогда его вполне могли за это приспособить к делу. Достаточно было только «правильно» осветить факты. И стало бы ясно, что ходила она в консульство не просто так, а по его заданию — он через нее пытался восстановить контрреволюционные связи. И все. Ясно как день. Как обыкновенный ясный день тридцать седьмого года. Почему-то не приспособили — руки не дошли. А может, и не знали. В блокаду несчастье дочери спасло жизнь ее родителям. Они накопили много сахара — для посылок в лагерь. И тем спаслись, когда Ленинград был отрезан. Так тоже бывало. Так вот эта Лида и познакомила меня с Б.Г.

Б.Г. была много старше и житейски опытней, чем я. Мой образ жизни ее ужаснул, и она взяла надо мной опеку. Она-то и устроила меня на квартиру. Потом наши отношения стали и ближе, и сложнее, мы вместе жили, но об интимной стороне отношений я говорить не буду — не вижу смысла в такой исповеди. Не называю даже имени этой женщины, которой за многое благодарен, ограничиваюсь обозначением Б.Г. Выяснить, кто это, наверное, можно, но я далеко не Пушкин, и имею основания надеяться, что у научной пытливости не появится искушения разгадывать эту загадку. Во всяком случае, я ей в этом не помощник. Не стоит копаться в отношениях женщины, которой время изрядно поломало жизнь, с юношей, оторванным (может быть, навсегда) от своей среды и предназначения. Но говорить об этой женщине я буду потому, что отношения наши были, при любой сложности, дружескими и тесными, касались многого, представляющего общий интерес. Б.Г. из моей тогдашней жизни не выбросишь. Да и желания нет. Только хочу отметить — когда Б.Г., так сказать, «брала мою судьбу в свои руки» и начинала устраивать меня на квартиру, дальнейшее развитие наших отношений еще не проглядывалось: она просто выручала интеллигентного мальчику, мало приспособленного к решению практических вопросов бытия, которые, тем не менее, настоятельно требовали решения.

«Снять квартиру» (то есть стать квартирантом) в Чумакове в принципе не было тогда делом сложным. Материальные возможности для этого у меня были, ибо родители регулярно присылали рублей триста в месяц. Сумма эта там, откуда ее присылали, была очень небольшой (в первую же

послесталинскую реформу они были сразу превращены в тридцать), но в послевоенном Чумакове она была достаточной для безбедного существования. Ибо там, откуда их присылали, платили за работу деньгами (достаточными или нет — другой вопрос), а большинству сельских жителей за работу денег не платили вообще, но в то же время налоги с них требовали, и деньгами. Да и вообще деньги людям, даже живущим «на всем своем», бывают нужны. Хоть какие-то. Вот они и продавали по дешевке свою продукцию на базаре. Квартиры и услуги стоили там недорого тоже поэтому. Об этой системе еще будет речь, но если б она была другой, я бы там не выжил. Правда, я бы и в ссылке не оказался.

Но так или иначе, найти квартиру в Чумаках было вполне возможно. Но я не знал, как за это взяться. Б.Г. это сразу поняла и взялась за это сама. Решила она эту проблему просто — решила поселить меня в доме, где уже квартировал «на всем готовом» один ее одноэтапник. Дом этот был расположен на том же краю деревни, что и райпромкомбинат, где я тогда трудился, только на противоположной стороне улицы, в этом месте расширявшейся — в расширении помещался небольшой базарчик, функционировавший только по воскресеньям. Б.Г. однажды после базара зашла к своему одноэтапнику посмотреть, как тот устроился, и ей очень понравилась его хозяйка. И когда перед ней встал вопрос о моем жилье, она сразу вспомнила об этой женщине. Навестила ее, договорилась о плате (с готовкой и даже стиркой) и привела меня. Хозяйка эта, если мне не изменяет память, Федосья Максимовна, действительно была очень славной женщиной, с приятным, милым лицом, так и лучившимся добротой и сочувствием.

И я стал жить в этом доме. Жил я в нем недолго, но это был первый дом, в котором я жил. Жил, окруженный радужием и заботой Федосьи Максимовны — «как у себя дома». Она вносила дрова, топила печь, варила, стирала, убирала, среди ночи вставала и быстро растапливала докрасна «железку» — железную печурку, стоявшую посреди избы, — когда казалось, что изба начинает выстывать. После чего сама падала на пол, поскольку жара становилась невыносимой. В этом она была неоригинальна — это вообще было местной особенностью.

Сибиряки легко переносят холод на улице или в лесу, а намерзшись в дороге и еще не войдя в дом, пьют в холод-

ных сенях воду со льдом из стоящей там бадьи (сам так делал, и с удовольствием), но не выносят малейшего намека на прохладу в доме — особенно ночью. Так или иначе, дел у Федосьи Максимовны было по горло. Она вела дом и ухаживала, в сущности, за тремя мужиками — двумя квартирантами и стариком отцом. И все это она проделывала легко и естественно, словно это не стоило ей труда, а только доставляло удовольствие. Неудивительно, что хорошие отношения с ней и у меня, и у Б.Г. сохранялись до самого конца.

Выражение «как дома» преувеличено только в том смысле, что сидеть и маяться целый день без дела на глазах у людей — хозяйки и ее отца — все равно тошно. А после ухода из комбината я часто именно этим занимался, не знал, куда себя девать. Тем более что изба была не пятистенная, а однокомнатная, без горницы — и все всегда были друг у друга на глазах. Правда, я много времени проводил в библиотеке, но потом стал брать книги домой. В общем, дома я бывал все-таки подолгу.

Тем временем началась настоящая зима, задула пурга, скорость ветра — пятнадцать и более метров в секунду. Ничего подобного я до того не видел и не испытывал. Ты идешь и упираешься в воздушную стену,двигающуюся навстречу. Пробираться приходится боком, чтоб меньше парусить. Но порой внезапным порывом тебя все равно подхватывает и относит метров на десять, а то и больше назад. Такие погоды были несколько раз за эту зиму. Как ни странно, в следующие полторы зимы, проведенные мной в Чумакове, таких ветров не было больше ни разу. Я слышал, что и в последующие годы этого тоже долго не было. Климат, что ли, изменился от всяких насилий над природой? Впрочем, недавно вроде такие ветры опять вернулись — так что, может, климат изменился, но на время.

А тогда я воспринимал это как данность, и эта данность мне даже нравилась. Сибирские ветры, сибирские морозы — а что еще должно быть в Сибири? Все нормально и, в общем, нестрашно — «Сибирь ведь тоже русская земля». Тем более что возвращаешься домой, а в доме светло и чисто, жарко натоплено — сразу отходишь. Чувствовал я себя хорошо и бодро. Вот только девать себя все равно было некуда.

Вот обычная картина. Я сижу на топчане или за столом, если он свободен, — читаю или пишу. Федосья Максимов-

на возится по хозяйству, старик, ее отец, лежит на печи. Больше молчит. Но если включено радио, он занимается тем, что на гэбистском языке называется «клеветнические комментарии». В основном на сельскохозяйственные темы.

Например, диктор заливается:

— Мы сейчас стоим у комбайна, на котором комбайнер Василий Уланов только что убрал двести гектаров...

— Ну да! Стоять-то легко, — комментирует дед.

Это, конечно, тоже оскорбление советской прессы, но еще куда ни шло. Но вот диктор деловито сообщает, что в таком-то колхозе люди хорошо потрудились и получили на трудодень по пять (а то и по десять) килограммов зерна.

— Ври больше! — осаживает диктора дед. Но тот не слышит и продолжает. То, что радиотарелка — прибор без обратной связи, спасает и диктора, и деда. Диктора от неловкости, а деда от более крупных неприятностей. А машина вертится. Возможно, тому, что говорилось о кознях Америки, дед верил — не помню. Скорее всего, он этим просто не интересовался.

Но вот интересная деталь. Однажды мне захотелось почитать Библию, и я спросил Федосью Максимовну, не знает ли она, у кого можно ее одолжить на время. Ответила она мне как-то даже испуганно:

— Да нет... Что ты, Наум! Это тут старики были... Собирались, толковали... Мой к ним не ходил.

Здорово тут, видимо, в свое время давали шороху по борьбе с религией, если до сих пор у вполне разумной женщины такой рефлекс. Странная вещь! Сколько я здесь уже слышал самых резких высказываний про жизнь, про порядки, про колхозы и даже про власть. Об этом говорили что вздумается. А вот чтоб говорили о Боге — не припомню. Не то чтобы я сам был тогда сильно склонен к таким разговорам, но — не слышал. От местных. Ссылные сектанты иногда нарушали это, уже анахроничное, — о чем местные не догадывались — табу.

Вторым квартирантом Федосьи Максимовны был знакомый Б.Г., сапожник-заготовщик\*, Лазарь Цанкер. Заготовщик — это была его первоначальная профессия. В момент ареста был он профессором, преподавателем марк-

\* Заготовщик создает «заготовки» — другими словами, голенища сапог и верхние части любой другой обуви.



сизма и вел историю партии в одном из брянских институтов. К своей первоначальной профессии пришлось ему вернуться в лагере. Звал я его тогда, конечно, по имени-отчеству (он был лет на двадцать старше меня), но отчества его я точно не помню. Похоже, что Осипович. Так и буду его здесь именовать.

Трансформации Лазаря Осиповича из сапожников в профессора и обратно происходили вполне в соответствии с этапами развития большевистской революции. Начать с того, что заготовщиком он был не в России, а в Польше, где он родился и приобрел эту хорошую профессию. С ней он мог бы неплохо жить и дальше, во всяком случае, до самой войны. И даже потом, если бы как беженец или житель Восточной Польши оказался в СССР частным гражданином. В этом случае, уйди он с армией Андерса или останься в СССР, профессия эта все равно помогла бы ему выжить.

Но судьба судила иначе — он уверовал в коммунизм и вступил в польскую (подпольную) компартию. И поэтому вскоре — то ли спасаясь от полиции, то ли по другим причинам — перешел вождеденную советскую границу и прибыл в отечество трудящихся всего мира. Тогда, году в 26—27-м, переходящих границу коммунистов встречали еще не как шпионов и тайных агентов империализма, подлежащих немедленному аресту и разоблачению, а как товарищей по борьбе, которым надо оказывать всемерную помощь. Цанкера повезли в Москву и определили учиться в одно из наиболее привилегированных тогдашних учебных заведений в стране — Коммунистический университет народов Запада (был еще и народов Востока — там учился, например, Чжоу Эньлай). Поскольку заведение было сугубо партийным, а прибыл Лазарь Цанкер на родину трудящихся в самый разгар внутривнутрипартийной борьбы, то есть разгрома оппозиций, то его воспоминания об этом университете были в основном переполнены ее перипетиями.

По его рассказам выходило, что все эти коммунистические студенты, и он в том числе, всегда и неизменно поддерживали генеральную линию. Ни я, ни он еще тогда не знали, что это к тому времени было давней традицией интернационалистов, живущих в Москве. Точнее, сознательным, хоть и неофициальным решением работников

Коминтерна: «мы должны поддерживать ту фракцию, которая победит» (читал я это, кажется, у итальянского «ре-негата» Силоне).

Впрочем, у Цанкера и его товарищей это получалось стихийно — по-видимому, не могли они представить, что в отечестве трудящихся может побеждать неправая сторона. И всю мощь диалектики обращали на то, чтоб доказать себе и другим, что побежденные неправы. И поддерживали победителей — с энтузиазмом освистывали всех лидеров всех оппозиций, которые почему-то являлись к ним за интернационалистическим сочувствием. Кстати, оппозиций этих было гораздо больше, чем поминалось в «Кратком курсе» (например, были оппозиции Стецкого-Марецкого, «комсомольская», «толмачевская», о которых я никогда не слышал). И еще какие-то. Рассказывал Цанкер, как освистали они однажды и самого Бухарина. Тот постоял, помолчал и ушел.

Если б я тогда знал то, что знаю сегодня, я бы поинтересовался, как им, таким шустрым, стало известно, что Бухарин — оппозиция. Ведь он защищал то, что только что, на последнем съезде, было объявлено генеральной линией, а Сталин объявлял его оппозиционером, нападая с позиций, только что объявленных оппозиционными. Но я тогда этого не знал. Хотя и тогда мне пришла в голову шаловливая мысль: а как бы еще мог общаться Цанкер с Бухариным без помощи свиста? Бухарин был хоть и заблудшим, но интеллектуалом, а Цанкер — грамотным, но уверовавшим ремесленником. Далее, страну эту Бухарин хоть как-то, но знал и чувствовал, а Цанкер — никак. Как же тут спорить без свиста? А ведь по природе Цанкер был человек и добрый, и честный. Прошу национально мыслящих читателей, если такие будут, отметить, что он хоть и Лазарь, и Цанкер, и интернационалист, и даже впрямь не знал и не чувствовал страны (тогда — потом пришлось и познать, и почувствовать), неизменно, как и все его товарищи-интернационалисты, и голосовал, и бесился исключительно за «патриотического», «русского из русских» (по выражению казака Кондратенки) Сталина, а не за всякого рода «интернационалистов» типа Троцкого, Зиновьева, Каменева (и Бухарина тож; хоть он и не еврей).

Эта верность вождю при любом изменении его программы и его «генеральной линии» не прошла у Лазаря Осипо-

вича и после окончания университета. Его отправили не «поднимать восстание в тылу» (А.Копштейн), то есть среди «народов Запада», к чему вроде готовили, а преподавать марксизм и историю партии в одном из институтов города Брянска. Там он сразу или спустя срок и стал профессором. Естественно, он оставался и партийным активистом, был на хорошем счету и по-прежнему все одобрял. Такая у него была вера. Казалось бы, странная на обычный взгляд, но обычная в то сумасшедшее время. И не то чтобы ему так уж нравился Сталин — он, например, не соглашался со сталинским утверждением, что евреи не нация. Но это ничему не мешало — он одобрял. Нет, он не был ни плохим, ни глупым человеком, но он был соблазнен, это была окрылившая его вера, которая его подняла и несла. Над многим, над чем парить не следовало, но он этого не знал. От культуры предков он был оторван, ее заменила не более широкая, а зыбкая, партийная. Постигание истины ему заменило угадывание линии партии (сиречь воли Сталина) в каждый данный момент. И в тридцать пятом, и в тридцать шестом тоже. Искренне, истово и честно он доказал, что один из профессоров его кафедры протаскивает в лекциях бухаринские взгляды. Этого мнимого (кто б тогда решился быть подлинным!) «протаскивателя» ожидал неминуемый арест, но, может, и обошлось, ибо дня через два арестовали самого Цанкера. Нет, не за этого профессора — берите крупной! — за шпионаж в пользу Польши. В той фантазмагории это могло и спасти разоблаченного (враг, маскируясь, клеветает на честных советских людей, но мы бдительны!), а могло и не спасти (враг, чтоб войти в доверие, говорит иногда и правду, но мы бдительны), но о его судьбе Цанкер ничего не знал. И не беспокоился. Рассказывал он об этом сам и не каялся — он и теперь был искренне уверен, что правильно истолковал какие-то слова коллеги и, следовательно, был прав и чист — естественно — перед партией (которую Сталин тогда изничтожал). А перед кем еще надо было быть чистым?

И еще меньше он думал об этом коллеге, сидя в одиночке брянской тюрьмы. Разве в том плане, что — какая несправедливость! — до конца выполнял свой долг, а его в тюрьму. Долг он продолжал выполнять и здесь — и проявлял при этом настоящий героизм. Его били, издевались над

ним, но он ничего не подписывал. Только однажды якобы согласился дать «чистосердечные» показания, но только собственноручные. И получив бумагу и карандаш, написал заявление на имя товарища Сталина, в котором разоблачал контрреволюционные безобразия, творимые брянским НКВД. Конечно, кроме новых побоев он в ответ ничего не получил, но он действительно согласен был скорее умереть, чем оплевать свою чистую (перед партией) жизнь, свою преданность делу.

Помог ли ему этот героизм? Отчасти да. Он одержал победу — вменить ему шпионаж действительно не удалось. Правда, для него победа эта была номинальной — получил он тот же срок, но не 58/6 (шпионаж), а по спасительной (для энкавэдэшников) ПШ — «подозрение в шпионаже», которая признания не требовала. Так что победа имела для него лишь моральное значение. Но это что-то значило только внутри той аморальной партии, которую Сталин к этому времени успешно добивал и подменял своей КПСС, хоть называлась еще по-старому — ВКП(б). А эта «партия» изначально не имела никакой, даже своей частной («партийной») морали и общности — ее такие победы не касались. Но хоть все это так, хоть несмотря ни на что получил Лазарь Осипович свои запланированные десять лет, все равно факт этот остается фактом — он проявил личный героизм, на который оказался способным мало кто из его товарищей по мировоззрению, да и просто товарищей по несчастью.

Подчеркиваю опять, он не был плохим человеком. Не был и глупым, хотя интеллектуалом, которым его сделала партия, тоже не был. Он был человеком соблазненным, каких было много, и отнюдь не только среди евреев. Коммунизм тем еще был страшен, что привлекал «высокой целью» людей, способных на многое ради добра, и превращал их в орудия зла.

Сегодня в России его эстафету подхватил нацизм. Впрочем, годы ссылки, а также, конечно, и лагеря, Лазарь Осипович, хотя он во многом сохранял верность мировоззрению, был вполне порядочным человеком. Теперь ему бы не пришлось в голову кого-либо в чем-либо разоблачать, и ему вполне было можно доверять.

Зимой 1949 года началась антисемитская кампания, названная борьбой с космополитизмом. Для него это было

очень важно — ведь и коммунизм в значительной степени его привлек тем, что объявлял евреев равноправными, а тут такое. Но иногда его реакции были наивны. Например, прочитав чью-то статью, шельмовавшую составителей какой-то энциклопедии за то, что они зловредно уделили статье о еврейской литературе больше места, чем статьям о грузинской и армянской вместе (что действительно было ляпом и бестактностью, но по халатности, а не по зловредности), он сказал:

— Как же так можно... Ведь еврейская литература — древняя!

О том, что эти две литературы тоже весьма древние, он просто не знал. В этом смысле он был похож на ту (кажется, киргизскую) министершу культуры, которая, приехав в Ереван, публично заявила (говоря о достижениях советской власти):

— До революции армянский народ, как и киргизский, не имел своей письменности...

Дальше должны были следовать слова о том, как все в этом смысле при советской власти переменялось к лучшему. Но не последовало. Зал взорвался от возмущения.

Кстати, я совсем не уверен, что Лазарь Осипович так уж хорошо знал еврейскую литературу. Конечно, читал Шолом-Алейхема и около, но вряд ли имел четкое представление об остальном. Кроме как о том, что она — древняя. Ничего не поделаешь — так он учился. Кое-что знал неплохо, а кое о чем — о движении культуры, духа и мысли — и представления не имел. Как многие тогда — на то и культурная революция. Кстати, марксизм к этому вовсе не обязывал. М.Лифшиц и Г.Лукач тоже были марксистами. Но они работали в другой, чуждой Цанкеру области, а кроме того, их взгляды были ошибочными (поскольку «были признаны» таковыми — для него до ареста это было тождественно) — чего ж ему было в них вникать? Да и не очень он был подготовлен к такому марксизму. Учился все больше политике и рабочему движению, партайтаги\* изучал. Нас всех учили им вместо европейской истории XIX века, а уж в таких «университетах» — и подавно.

\* Партайтаг (нем.) — в переводе «партийный день» — так назывались съезды германской социал-демократии, история которой прилежно изучалась в средней школе и гуманитарных вузах. В Литинституте при мне — тоже.

Но говорить об этой кампании я хочу главным образом не в связи с Цанкером, а в связи с самим собой. Хотя разворачивалась она весьма далеко от Чумакова, где я тогда жил, и с тем, что тогда происходило со мной и вокруг меня, она сюжетно никак не была связана. Тем не менее мое соприкосновение с антикосмополитской кампанией безусловно явилось главным событием моей ссылочной жизни и одним из главных в моей жизни вообще.

О самом ходе и перипетиях кампании я ничего нового рассказать не могу. Об этом достаточно написано теми, кто был непосредственно в гуще событий. А я «только» сидел в районной библиотеке и читал центральные газеты. И рассказать могу только о том, как эти газеты действовали на меня и — главное — как это отразилось на моем сознании.

Точности ради хочу напомнить о том, что пакостная суть этой кампании не ограничивалась антисемитизмом — она ставила задачей любой ценой оторвать страну от мировой жизни и культуры, сеяла недоверие и ненависть ко всему остальному, особенно цивилизованному миру. Этой стороны я сейчас касаться не буду, ибо в тот момент это мне не казалось диким. Меня по моему мировоззрению больше обижало то, что евреев громили как природных представителей противоположной тенденции, то есть как примиренцев с буржуазией. Надо ли доказывать, что это чушь, что евреи функционеры были бы и дальше, как и все остальные «воспитанные Сталиным», представителями любой тенденции, которая исходила от него. Не ко двору оказались не их якобы тенденции, а их происхождение. Но это мне как раз предстояло понять. Однако не будем забегать вперед.

О начале этой кампании я впервые узнал из московской радиопередачи. Она была откровенно и глумливо антисемитской. Из нее становилось ясно, что начинается новая кампания, и можно было бы понять, каков будет ее характер. Но поверить в это я еще не мог. Я еле дождался газет, приходивших в библиотеку примерно на третий день, и к ним приник. Облегчения мне это не принесло. Иного смысла в ней не было. И чем я больше читал, тем яснее становилось, что людей клеймят и топчут только за их происхождение — причем за происхождение, общее с моим. Другими словами, что топтали бы и меня, окажись я на месте.

Но тот, кто решит, что я тут же рассердился и отринул Сталина, ошибется. Слишком дорого мне стоило его при-

ятие, слишком много диалектики я на это употребил. Слишком многие подлости и нелепости привык оправдывать высшими интересами. И даже то, что произошло со мной, заставил себя считать частностью. Как же я мог взять и, как теперь говорят, заикнуться на еврейском вопросе? Почему? Потому что дело коснулось евреев? А когда касалось крымских татар? Или немцев? Вон сколько их, высланных из Поволжья, живет в Чумакове и в районе! Допустим, в начале войны их высылка могла еще как-то объясняться стратегической необходимостью — Сталин боялся, что они все скопом выступят и подсобят Гитлеру. Но их ведь удерживают и сейчас, почти через четыре года после войны. Почему? Разве это не преследование людей по национальному признаку, прямое отклонение от идеологии, оскорбляющее мои чувства интернационалиста? Однако терплю, утешаюсь диалектикой. А теперь не вытерплю? Да что ж я, еврейский националист, что ли? Что ж я, врал всю жизнь другим и себе? Нет, такой измены себе я позволить не мог.

Теперь, в конце жизни, я думаю иначе, хоть и теперь не стал еврейским националистом. Теперь я считаю, что реагировать на национальные оскорбления и преследования отнюдь не значит становиться националистом, впадать в узость и «мелкотравчатость». Но так же я теперь отношусь к любым преследованиям и несправедливости, к любой лжи. Теперь я вообще не играю ни в какие диалектические игры и не присваиваю себе функций творца жизни и человека (скромнее — участника заговора «творцов»), берущего на себя (пусть только в мыслях, на интимном уровне) право ради этого жертвовать кем-то или чем-то. Моя жизнь по-прежнему пронизана Россией, другой нет. Но любые нацистские и КПРФ-овские наскоки ничего, кроме отвращения, во мне не вызывают. Их возможная победа, хоть вызвана она, может быть, только отчаянием народа, и связанные с этой победой дискриминация евреев, издевательства над ними, а то и их уничтожение не заставят меня отказаться от того, что я люблю (а это никогда не исчезнет полностью), но будет вызывать мое отчуждение и враждебность. В жизни бывает всякое, но человек не должен себя допускать до нацизма.

Тот стиль жизни и мысли, который я принял в первые послевоенные годы — все видеть и констатировать, но находить этому объяснения и оправдания, — с тех пор стал

для меня невозможным. Но тогда он определял мой путь и был предметом моей гордости, хотя вел меня из тупика в тупик. Думаю, что и на тот раз я все-таки собрался бы с силами и заставил себя перешагнуть и через «еврейскую обиду». Я ведь привык перешагивать, подчинять чувства «главному».

Спасло меня то, что драма эта разыгрывалась в литературной среде, которую я хорошо знал. Для затравки завели разговор о театральных «критиках-антипатриотах», но пламя, разгоревшееся из этой искры, тут же перекинулось на литературу. В отличие от всех других областей жизни и мысли, куда вмешивалась партия, здесь я знал, о чем и о ком говорят. И главное — кто говорит. И зачем. И в чьи руки попадает литература.

Конечно, не обошла эта буря и Литинститут. Главное действие развивалось не там, но это было наиболее близко ко мне. В одной из центральных газет, кажется в «Комсомолке», я прочел репортаж о том, как там на комсомольском собрании громили космополитов. Репортаж был остожен, но из него было ясно, что там поносили Антокольского (как руководителя семинара) и, кажется, Поженяна. Насторожило меня то, что большое значение при этом приобретал Малов, о котором я рассказывал в предыдущей книге. И не тем насторожило, что он, может быть, имел некоторое отношение к моему аресту, а полным несоответствием творческого и культурного уровня приобретенной вдруг роли. Он был для меня знаковой фигурой.

Но гораздо важнее было впечатление от репортажей о собраниях в самом Союзе писателей. Я долго старался вникнуть в происходящее, уловить какую-то другую руководящую мысль, стоящую за этой вакханалией, и терзался — ничего приличного не получалось. В Литинституте действовал Малов, а тут Софронов.

У меня не было никаких отношений с Софроновым (потом раза два я с ним пересекался, обменивался незначительными фразами), но я читал некоторые его стихи — они были тяжело бездарны, даже версификационно. Но запомнился он мне больше в ресторане писательского клуба — такой был агрессивный, готовый на все молодец в компании других таких же. Чего они ждали? К чему готовились? Того и ждали, к тому и готовились. Я даже не уверен, что он был антисемитом, «творческое» сотрудничество с ком-



позитором Сигизмундом Кацем не прервалось и когда он достиг вершин (откуда не опустился и после смерти Сталина — какая сила его держала?). Кто еще? Версификационно более способный, но чистый имитатор Грибачев, искренне ненавидевший «теорию самовыражения», под которой подразумевал присутствие личности в творчестве, — это и ненавидел. Были и другие, чьи имена нет необходимости воскрешать.

С позиций своего сегодняшнего знания могу сказать, что хотя «борьба с космополитизмом» и была грязной антисемитской кампанией, суть ее была не в антисемитизме. Антисемитизм существует и сейчас, и в чем-то сегодняшний (март 1999-го) даже страшней и опасней тогдашнего. Но природа его сейчас не только такая, как тогда. Сейчас это часто плод отчаяния, неумение и нежелание осознать подлинные причины крушения. Среди нынешних антисемитов, к сожалению, есть и талантливые писатели — Белов, Распутин и другие. Среди «борцов с космополитизмом» не было ни одного. Теперешний антисемитизм — опасное падение ума и духа. В антикосмополитической кампании ум и дух вообще не присутствовали, даже в стадии падения.

Тогда это была только борьба за места, причем не за свои. В данном конкретном случае за должности в некоем Министерстве литературы, «Министерстве Союза писателей», как точно определил его потом Булат Окуджава, за их распределение и перераспределение. Потом я понял, что это явление всеобщее для сталинщины (и вообще для большевизма, но это еще было мне не по зубам), ибо «места» — единственный капитал, которым владеет такое государство. Но это такой капитал, который зависит не от продуктивности человека, а от его положения, от места в иерархии. Сталин был тем и велик, что всегда был занят распределением этих «мест» в иерархии — от места в Политбюро до места в камере смертников — в кажущихся и реальных интересах своей личной власти. Из такого распределения антисемитизм и вообще расизм вытекают сами собой. Именно поэтому я когда-то (много позже описываемого времени) сказал, что «единственно устойчивая форма социализма — национал-социализм». А как иначе распределять, если распределение не зависит от выхода продукции? Правда, Сталин во время космополитической кампании пошел дальше. Подлежащими распределению оказались не только штат-

ные должности секретарей, заведующих отделами, консультантов и т.п., но и положения «выдающегося писателя», «известного писателя», даже «прославленного писателя» и тому подобное.

Трудно точно сказать, зачем ему это было нужно. Безусловно, лично он был антисемитом, был им всегда, но всегда мало с этим считался. А теперь решил это проявить. Зачем? Известно, что у него были новые величественные и никому, кроме него, не нужные планы, требующие от народа новых жертв. И, может быть, он решил таким способом создать нужную ему для этого новую верную опору. И думал, что ею станут те, кто благодаря его антисемитской политике получают от него некие толики власти. Не думаю, чтоб его расчет был верен. Те, на кого он мог опереться в связи с антисемитизмом, вряд ли могли бы в острый момент удерживать массы или империю. Но только для них, только для формирования новой «когорты кадров» имела реальное значение эта борьба. Ведь даже в качестве повода для возбуждения массового антисемитизма эта кампания провалилась — обстоятельства литературной жизни мало кого волновали. Не то что потом «жуткие преступления» «врачей-отравителей».

Да и вообще в многонациональной империи шельмовать какую бы то ни было этническую группу за то, что все ее представители — «беспачпортные бродяги в человечестве» и «люди без родины», — неосторожно. Это значит напоминать многим другим, что они-то не «беспачпортные», что у них есть своя «собственная и отдельная» земля, и тем самым способствовать центробежным, а не центростремительным тенденциям. Сталин сам разрушал Империю, восстановление которой он считал одной из самых главных своих заслуг.

Но это сегодняшние мысли, основанные на другом знании. И не ошибки Сталина меня сейчас интересуют, а то, что происходило со мной и во мне. А по моему тогдашнему мировоззрению тогда я уже почти был готов и с этим примириться, доказать себе, что и евреями, видимо, надо пожертвовать. Во имя... Наверное, уже подыскивал соображения, по которым это исторически необходимо (словно впрямь главная забота человека должна быть о соответствии истории, а не о душе и добре).

Но однажды, когда я сидел в библиотеке, доказывая себе, что «да, и этим надо пожертвовать», в моем мозгу (и в

душе) вдруг мелькнула неожиданная мысль, вполне даже коммунистическая — другой у меня тогда и быть не могло, но все-таки тогда для меня шальная, пронзившая меня насквозь: «А что же остается? Сплошной Софронов? Ведь он ничего, кроме таких, как он, не оставит». Действительно, что оставалось? Идеологией (напоминаю — порочной, но мне еще тогда дорогой, какой официально все еще клялись) пожертвовали, людьми, которым был дорог ее смысл, пожертвовали, заменили бессмысленными попками, о которых я когда-то в своей юношеской поэме «Утверждение» (о Павле Когане), «принимая время», писал как о людях: «Пусть менее по вкусу цели, / Но более полезных ей». В каком-то смысле в этих строках — сущность всей моей идиотской «диалектики приятия» сталинщины — попки, выполняющие историческую работу! Нет, попки делали только свою «попкину» работу — давили и потребляли. Без нынешнего беспредела, но сколько позволяло место у отведенной кормушки. Часто — чуточку больше. А с годами — все больше. Но не надо забегать вперед. Важно, что этим «попкам» теперь отдавали и литературу и, так сказать, всю сокровенность духа. Так что же остается? Где же еще мог оставаться самый «дух преобразований», весь тайный, но светлый смысл происходящего?

Задал я себе эти вопросы и ответил: на первый — «НИЧЕГО», а на второй — «НИГДЕ»... И все полетело, все мои построения послевоенных лет.

Злодеяния Сталина, все хитросплетения и глупости сталинщины предстали передо мной не выражением некоей сложной сущности, внешним (с неминуемыми, конечно, издержками) проявлением тайного огня веры, а во всей наготе — тем, чем они выглядели на поверхности: злодеяниями, подлостями, низостями и больше ничем. Ибо допускались они не для «чего-то» (что я тогда считал если не нормальным, то простительным), а «для ничего» — существовали только личные расчеты, комплексы и амбиции Сталина. И этому была подчинена жизнь огромной страны и — дорогого тогда еще для меня — мирового коммунистического движения.

Так тогда, в библиотеке, сидя над газетами, я вдруг в одночасье освободился от Сталина.

«Только и всего?...» — могут презрительно бросить мне те, кому эта свобода досталась бесплатно. Но не такое уж

это было «только». Для меня это было освобождение от обязательной подгонки восприятия и осмысления под каждый чих этого ублюдка, от необходимости находить разумные объяснения его разрушительным нелепостям и бесчеловечности. Кому-то сегодня это может показаться мелочью, но у меня тогда как камень с души свалился. Да, я еще верил в «настоящий коммунизм». Но поскольку он, по моим новым представлениям, был весь в прошлом, может, в будущем, но никак не в настоящем, сверять мне по нему свое отношение к повседневности, к людям, к их страданиям и мукам больше не было ни необходимости, ни возможности. Теперь ничто уже не препятствовало нормальным человеческим реакциям, они вышли из подполья.

«Только?» Но ведь вокруг все жило по-прежнему. Сталинищина еще полностью владела страной, замутняла мысли и восприятие многих множеств, надо мной по-прежнему все время висел ее топор... Но отныне все это стало для меня только (опять «только»!) внешним, хотя по-прежнему страшным обстоятельством, бешеной собакой, от которой надо уворачиваться. Я стал относиться к этому так же, как, сознавая это или нет, относились все вокруг, большинство людей страны. Мои односторонние духовно-идеологические коллизии с МГБ теперь закончились (меня перестало смущать, что я с ним не откровенен) и упростились мои отношения с людьми. Я перестал «в хорошие минуты» внушать им жестокую чепуху. Я еще верил в коммунизм, но стал более свободным человеком, чем вытекало из «мировоззрения».

Поэтому главное для меня в антикосмополитской кампании — не просчеты и ошибки Сталина в ее планировании, а то, что в ее ходе я понял сущность сталинищины и советского социального строя вообще. В частности, мне больше не надо было спорить с очевидностью, возражая Б.Г., с которой я тогда много общался.

Рассказав о своем прозрении, я не могу не сказать о том, что в это вносила Б.Г. Не о влиянии, ибо влияния собственно не было. Как видел читатель, скрытые от многих факты советской истории я знал и до знакомства с ней, а своим объяснениям и конструкциям оставался верен, несмотря на все ее возражения — пока они сами у меня на глазах не рассыпались в один миг. Дело было не во влиянии, а в ней самой, в ее жизни. То, что она рассказывала о

себе, расширяло мои представления о происшедшем и как-то поддерживало меня...

Ее семья была одной из тех многочисленных еврейских семей, которые в 1915 году по приказу тогдашнего начальника Генерального штаба Российской армии генерала Янушкевича были в массовом порядке заподозрены в шпионаже (объясняющем поражения Русской армии, им руководимой) и принудительно эвакуированы из фронтовой полосы в центральные губернии (где до тех пор евреям за определенным исключением вообще жить возбранялось). Мероприятие это проводилось более гуманно, чем выселение немцев из Поволжья в 1941-м (никого ни в какие «трудармии» не забирали), но было само по себе потрясением. Не все выдержали — отец Б.Г. в эвакуации умер. Неудивительно, что эта «эвакуация» явилась фактором, революционизирующим обстановку в целом. Можно ли удивляться, что в среде, с которой так обошлись, часть молодежи откликнулась на пропаганду крайнего интернационализма?

После смерти отца мать с двумя дочерьми так и осталась в России. Советской, разумеется. В партии Б.Г. никогда не состояла, но по младости сочувствовала ее «*Sturm und Drang*» («Буре и натиску») и потому дружила со многими троцкистами. За одного из них, молодого инженера, сына старого большевика и племянника одного из делегатов I-го съезда РСДРП, она вскорости и вышла замуж. К огорчению «национально мыслящих» должен отметить, что, несмотря на свой троцкизм и революционную родословную, муж ее, как и большинство российских революционеров, евреем не был. Троцкисты тоже отнюдь не сплошь были евреями. Они были только последовательными большевиками.

Среда эта, в которой вращалась Б.Г., была традиционно политизированной, честно верующей и по преимуществу интеллигентской (муж ее был инженером). Б.Г. была в ней своим человеком, но я не помню в ней особой тоски по мировой революции. Думаю, что объединяло их другое — ненависть к сталинской идеологической брутальности, к насаждаемой пустоте, к тому, что он нес. Понимание этого было единственной сильной стороной троцкизма и троцкистов. Ничего мудрого и несущего выход стране в их мировоззрении и программе не было, как не было этого вообще в большевизме. Их победа (в принципе невозможная) никакой радости России бы не принесла. И все-таки я убеж-

ден; что все равно она была бы для России лучше, чем сталинщина. Нет, не из-за программы. А только потому, что свою дикую программу Троцкий формулировал открыто, а это оставляло мозги людей неразрушенными.

Проведение этой утопической программы в жизнь обязательно наткнулось бы на всевозрастающее сопротивление. И — поскольку она открыто формулировалась — на осознание ее причин. Троцкому пришлось бы либо отступить и начать реформы (на это он был способен — он ведь предложил нечто вроде НЭПа за год до Ленина, когда тот еще надеялся, что обойдется без этого), либо настаивать на своем и вызвать взрыв. В обоих случаях — изменилась бы или погибла советская власть — Россия бы уцелела.

Но Сталин ничего своими словами не называл и изобретенное большевизмом взаимодействие террора с пропагандой употребил не на внедрение какой-либо, пусть и более чем сомнительной, но все же цельной идеологии, а на оглушение прострацией, на то, чтобы человек вообще утратил связь между словом и смыслом. Он инстинктивно добивался не только разрушения связей и взаимопонимания каждого с каждым, но и каждого с самим собой, со своим восприятием, разумом и опытом.

Реальность существовала и при нем (жили-то все равно в реальности), но она как бы не участвовала в сознании. Это было оруэлловским «двоемыслием» (Double think), дьявольщиной. Но не дьявольски-гениальным планом, а просто перманентным эмпирическим замечанием следов и маскировкой ужасающих последствий своих гениальных планов и непререкаемых решений. Для этого надо было отменить и изгнать из мозгов реальность как таковую. Всякую. В том числе и реальность самой идеологии — при полном сохранении ее легитимизирующих его власть аксессуаров. Подавлялось не сопротивление или инакомыслие, подавлялось сознание как таковое (что видно и по моему делу). Троцкий был жестким и безжалостным доктринером, фанатиком, как Ленин и Гитлер. Но это была его реальность. У Сталина реальности не было. Он был фантом. Даниил Андреев называет его сатаной. По-моему, это все-таки преувеличение, но что он был счастливой находкой сатаны, для меня безусловно. Вырваться из тисков этой сатанинской фантомности было невозможно, и свою гибельную работу Сталин проделал до конца.

Но это к слову. Я просто хочу сказать — мне кажется естественным, что в двадцатые годы интеллигентная и полунинтеллигентная, но ищущая молодежь (из принявших коммунизм, конечно) между Троцким и Сталиным выбирала Троцкого. Примыкание к Троцкому казалось этой молодежи единственным способом сохранить осмысленность существования. До тревог Бухарина и Рыкова она еще просто тогда не доросла, да и выступали они в союзе со Сталиным, ухмыляясь по поводу его проделок, выгодных пока и им. Правда, как только Сталин с их помощью разгромил Троцкого и остальных «левых», он стал эти же проделки применять против них самих, но наперед они этого почему-то не знали. К «честным» большевикам вообще всегда возвращалась бумерангом допускаемая ими нечистоплотность, но это другая тема.

Неудивительно, что многие из них, несмотря на поражение, продолжали конспирировать. Хоть я и теперь не понимаю, в чем именно могла состоять их конспирация. Вероятно, в основе было просто нежелание подчиниться брутальному подлогу. Они готовы были обратиться и непосредственно к «рабочему классу», но с их лозунгами соваться к «массам», как точно отметил Авторханов, было бессмысленно. «Работу» они могли вести только в партии — например (так я предполагаю — Б.Г. мне этого не говорила), распространять издававшийся Троцким за границей «Бюллетень оппозиции большевиков-ленинцев». Желающих почитать этот «самиздат» того времени в тогдашней партийной среде, вероятно, находилось много, и не только среди сторонников Троцкого — Сталин многим был тошен. Но если и читали, то только чтоб отвести душу — политического эффекта это иметь не могло. Однако товарища Сталина любое несогласие все равно обижало, а ГПУ все больше становилось его личными когтями. Их сажали. Может, и не за «Бюллетень» — Б.Г. мне о нем не рассказывала.

А рассказывала мне она — теперь это общеизвестно, — что в конце двадцатых некапитулировавших троцкистов стали систематически арестовывать и после следствия либо помещать в политизоляторы (привилегированные тюрьмы «для своих»), либо отправлять в ссылки. Году в тридцатом выслали в Уфу и мужа Б.Г. Но пока еще отношение было как к своим заблудшим. Он стал работать главным инженером строительства электростанции в Черниковке под Уфой.

Б.Г. поехала за ним. Жили отнюдь не роскошно — на дворе свирепствовала «романтическая» первая пятилетка. Думаю, что трансформация океана лишений и страданий в светлый романтический образ — страшный грех тогдашней пишущей братии.

Запомнился мне один эпизод из ее рассказов. Ей очень долго не привозили полагающиеся мужу по штату дрова. Дошло до того, что просто каждый день надо было изворачиваться, чтобы найти, на чем готовить пищу. Муж каждый раз отвечал: дескать, подожди — нет свободного транспорта. А мимо дома все время везли лес и дрова на строительство. И однажды Б.Г. не выдержала — самовольно завернула два воза дров и велела их сгрузить у себя во дворе. Возчики жене главного инженера перечить не стали, но муж устроил ей за это грандиозный скандал.

— Ты меня позоришь! — кричал он. — Что про меня подумают? Я не могу возить себе дрова, когда на стройке не хватает транспорта!

Полагаю, что возчики ничего не подумали. Чать и инженерше чем-то топиться надо — тем более положено. Просто муж Б.Г. при всем своем коммунизме был традиционным русским интеллигентом. Такое было правило — себе в последнюю очередь, иначе неприлично. Так вели себя все, независимо от происхождения и взглядов. Таким был, например, и муж моей двоюродной тетки Давид Михайлович Яхнин. Во время войны и после нее, в трудные годы, он был главным врачом поликлиники в Замоскворечье. Хорошили его спустя много лет при большом стечении народа. Нянечки плакали. И повторяли:

— Какой человек был хороший! Совестный. Всегда сначала людям, а уж только потом себе. Не как нынешние...

Такие люди были еще и в мое время. Они не вымерли. Их выбили, вытеснили. На них держалась жизнь. На ком она держится теперь?

В уфимской ссылке было много самых разных — священников, эсеров, меньшевиков, троцкистов. Вряд ли они поддерживали друг с другом тесные отношения, но в 1935 (или 36-м?) году, когда ликвидировали уфимскую ссылку, их объединил НКВД. Не только общим арестом (арестовали всех сразу, чуть ли не в одну ночь), но и общим обвинением. Всех без исключения — священников, эсэров и про-



чих — обвинили в троцкизме. По статье КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность).

Священники к этой дикой метаморфозе отнеслись спокойно — от этой власти они ничего разумного и не ждали, а как эти бесы их именуют, им было все равно. Но вот эсеры и меньшевики были сильно оскорблены — одним росчерком пера зачеркивалась вся их жизнь и стойкость. Их превращали хоть и в оппозиционных, но коммунистов, которых они всегда презирали.

Но следователи теперь вообще были набраны такие, которые не знали и не представляли, что у людей бывают взгляды. Все враги — это те, кто либо продается империалистам и фашистам за деньги (как этот гад Троцкий), либо мстит народу за то, что у них отняла революция. Никакой разницы между ними нет.

Впрочем, у Б.Г. и ее мужа таких драм не было, их обвиняли в том, что они были теми, кем они в самом деле были. Правда, деятельности они никакой не вели, а литера «Д» в аббревиатуре КРТД, применяемой как статья, означает «деятельность». Но это уже мелочь на общем фоне. Впрочем, возможно, мужа обвинили и во вредительстве — как главного инженера в таком не обвинить! Мне это неизвестно, но факт, что расстреляли. А Б.Г. как домохозяйка с тем же «КРТД» поехала на Воркуту.

Рассказывала она, как проходила знаменитая голодовка троцкистов на Воркуте, в которой она участвовала. Требовали восстановления политрежима. Голодовка продолжалась долго, потом был достигнут компромисс, и большинство его приняли. Но несколько человек с компромиссом не согласились, продолжали голодать. Среди них был один старый анархист, грузин. Объяснял он это свое решение так:

— Я на царской каторге работать мог, на немецкой тоже мог. А на этого (он жестом изображал усы) — нэ буду. Ты нэ знаешь, дэвочка, что это за чэловэк. Он такой — если кто ему что-нибудь скажэт, а ему нэ понравытся, он помолчит, покрутит усы, и чэловэка нэ будэт... (Грузины, видимо, знали цену Сталину и раньше — не зря он так расправился с грузинской интеллигенцией. — *Н.К.*)

Рефреном же в его высказываниях было:

— Я товарищей нэ осуждаю. Товарищи молодые, товарищи жить хотят... А я — нэ могу. Мой дэд нэ был рабом, мой отэц нэ был рабом, и я — нэ буду.

Но мало кому из «молодых товарищей» удалось реализовать свое желание жить. Сталин, ставший великим вождем, вовсе не собирался быть еще и рыцарем. Допустим, держать слово. Вскоре после достижения компромисса и окончания голодовки на Воркуте начались кашкетинские расстрелы, возник лагерь (или барак) смерти «Кирпичный завод». Людей, особенно участников голодовки, отводили в тундру и вталкивали, вминали в этот «завод». Обычно оттуда не возвращались. И о воркутинской голодовке троцкистов, и о «Кирпичном заводе», и о кашкетинских (на Колыме — «гаранинских») расстрелах, точнее отстрелах, я потом много читал, особенно ярко и полно об этом у Марии Иоффе (при всем моем неприятии ее жизни и биографии). Ее, кстати, водили на этот завод, но знакомый комендантурка ее спас — устроил истерику: «Баба? Бабу к стольким мужикам? Не приму!» И не принял. Имела она интересные собеседования и с самим Кашкетиным. Но об этом — в ее мемуарах.

На Колыме эти отстрелы велись художественней. Вот что рассказал мне о таком, но только более просторном лагере смерти казахский поэт, потом известный актер Мусин, тоже чумаковский ссыльный. Поместили его туда, как и других, не объясняя, в чем дело. Просто вызвали по списку и перевели — дело для лагеря обычное. В один из первых дней вдруг раздалась команда «Становись!» и разнесся слух, что отбирают людей, чтоб вести их на выгодную работу — картошку перебирать (можно подкормиться, а может, и стянуть что-нибудь). Все бросились. Мусин занял место в четвертом ряду, но его вытолкнули в пятый. Раздалась команда:

— Первые четыре ряда шаг вперед!

Первые четыре ряда удовлетворенно сделали шаг вперед.

— Шагом марш! — и колонна в предвкушении убогих лагерных радостей бодро двинулась вперед, провожаемая завистью оставшихся. А вечером приказ — приговор какого-то трибунала: «Таких-то и таких-то (список «счастливиц» из первых четырех рядов) за контрреволюцию, бандитизм, саботаж, троцкизм (и за что-то еще, чего не помню) — расстрелять». И примечание: «Приговор приведен в исполнение». А на следующий день кто-то из канцелярии остановил Мусина во дворе:

— Слушай, Мусин, какая у тебя статья?

— КРНД (контрреволюционная националистическая деятельность).

— А кто-то прочел: КРТД! Так тебе ж здесь вообще не следует находиться.

И Мусин был возвращен в обычный лагерь, другими словами, остался жить. А если бы накануне ему «повезло», если бы его кто-то подлю не вытолкнул из четвертого ряда — его бы уже не было. Он тогда не сразу понял, что это был лагерь смерти.

Но все это я узнал потом. А впервые я услышал о воркутинских событиях — о голодовке, о «Кирпичном заводе» и кашкетинских отстрелах — в Чумакове, на рубеже 1948—1949 годов от Б.Г. Расстрела ожидала и она сама. Но до нее, слава Богу, не дошло.

Рассказы эти меня волновали, но мировоззрения моего до «космополитизма» не затрагивали, хотя люди, о которых она мне рассказывала, казались привлекательными (я ведь тоже был верующим коммунистом), но не по времени идеалистичными. На мой тогдашний взгляд, исторически необходимо было во всем покориться Сталину (хоть я и понимал, что это бы их не спасло). Но и сегодня, несмотря на то, что уже давно к любому коммунизму я отношусь с отвращением, а Троцкого считаю уголовным преступником, я благодарен им за эту наивную обреченную голодовку.

Это была единственная попытка сопротивления полному беспределу в сталинских лагерях, последняя попытка воспрепятствовать обращению с людьми как с бревнами. Она не могла кончиться лучше, но все равно хорошо, что кто-то, причем организованными действиями, показал, что не относится к дикому произволу как к чему-то само собой разумеющемуся и нормальному. Взгляды их были нелепы, история темна. Они, к сожалению, действительно были только «оппозицией большевиков-ленинцев», про них вполне можно сказать — «за что боролись, на то и напоролись». Они сейчас голодали за политрежим, но ведь и до этого он существовал только для оппозиционеров и — в урезанном виде — для социалистов. На остальных политических, на «каэров», он не распространялся, и их это не беспокоило. Они принимали все преступления «честного» большевизма (и следовательно, отвечают за них), а некоторые, кто был постарше, и непосредственно участвовали в них. Все так. Но там, на Воркуте, они погибали не за диктатуру проле-

тариата и мировую революцию, а за элементарное право заключенных быть людьми, за правое дело. И в этом я им сочувствую, а их гибель воспринимаю как поражение всего народа, подавление последней вспышки, нет, конечно, не здравого, но хоть какого-то смысла и достоинства. Потом в лагерях наступила ночь стопроцентного бесправия и подавленности. Лагерные восстания начала пятидесятых — знамения другой эпохи.

Те, кто видит в массовом отстреле троцкистов благо патристического возрождения, ошибаются. Массовые, бессудные отстрелы вообще не могут быть полезны — объективно они создают в стране обстановку безучастия и безразличия, недоверия к смыслу и ценностям. А эти отстрелы еще были тайными, ибо субъективно были только личной мстью Сталина тем, кто знал ему цену. Например, знал, что он выполняет их программу — в огрубленном, как они думали, варианте. Или кого он подозревал в том, что он это знал и думал.

Да, троцкисты — коммунисты, у них было много грехов, за которые многие из них и сам Троцкий подлежали бы суду. Но суду, подобному Нюрнбергскому трибуналу, а отнюдь не суду Сталина, который должен был бы стать одним из главных подсудимых на этом процессе (даже если бы он состоялся до его окончательного воцарения). На этом процессе их обвиняли бы не в деяниях, которых они не совершали (или даже физически были невозможны), а в содеянном вместе с партией. Они ответили бы за многое (те, кто участвовал, — многие повзрослели позже). Не ответственны они только за одно — за приход Сталина к власти над страной. Ибо сопротивлялись этому как могли, не считаясь даже с таким большевистским фетишем, как «сохранение единства партии». Видимо, если не сознавали, то чувствовали, что если единство под Сталиным, то никакого «изма» уже не остается. Это они знали и чувствовали.

Ошибка их была в другом — в том, что это давало им чувство правоты. А правота эта была только перед Сталиным — перед всеми остальными, перед всей страной они были кругом виноваты. Этого, то есть порочности большевизма, они не понимали. Как и многие другие. Как известно читателю, не понимал этого тогда, к сожалению, и я.

Но вернемся к Б.Г. Парадоксальность сталинщины. Поскольку троцкистов, которых Сталин ненавидел больше

всех, сажали первыми, в 1935-м, когда машина массовых репрессий еще только разворачивалась, им давали по пять лет лагерей (в то время как домработницы, до которых доходило дело в 1938-м, получали по десять). Правда, в эти пять лет в лагерях шел массовый отстрел троцкистов. Но те, кто уцелел, в 1940-м выходили на свободу. Некоторые даже приняли участие в войне. Б.Г., отсидев свои пять, тоже вышла на свободу. Потом даже стала жить в Москве. Тут ее и замели, когда «превысивший свои полномочия» Абакумов стал хватать «повторников».

Из рассказов Б.Г. о ее третьем сидении я запомнил рассказ об одной малограмотной еврейке из Западной Украины. Кажется, бандеровцы спасли ее от немцев, и была она арестована за связь с бандеровцами. На Лубянке она сильно препиралась со следователем, шившим ей шпионаж.

— Нет, я не шпионка, — кричала она возмущенно, — какая я шпионка!

Однажды во время этих препирательств появился какой-то начальник, постоял, послушал их перепалку и изрек:

— Ты говно.

Подследственная ни на секунду не растерялась и сказала, обращаясь к следователю:

— Вот видите, гражданин следователь, пришел умный человек, и он вам сразу сказал, кто я. А вы говорите, что я шпионка!

Шпионаж с нее сняли.

От Б.Г. от первой в 1948—1949 гг. я услышал о развлечениях Берии с прекрасным полом, о его странном способе ухаживания через подчиненных. Одна из них была ее сокамерницей. История ее такова. У нее был роман с американцем или англичанином, во всяком случае, с союзником, что поначалу не возбранялось. Но потом вышел указ, строго возбранявший такие связи. Стали за это сажать, и женщина испугалась. Она заметалась, но, узнав от кого-то о пристрастиях Берии, сумела сделать так, чтобы быть «завербованной» в его любовницы. И Берии очень понравилась. Когда он был в особом упоении от нее, она ему рассказала о том, что ее тревожило. Но всемогущий Берия, как ни странно, смертельно перепугался и сказал ей, что ничего для нее тут сделать не может. И что больше они не могут встречаться. Вскоре ее арестовали — содействовал ли он этому аресту прямо, не знаю. В принципе он приглянув-

шихся ему дам — даже если они отказывали ему — не сажал. Я потом был знаком с женщиной, которая, будучи к нему доставлена, отказалась его «утешить», но с ней ничего не случилось. Но тут он сам испугался — вероятно, у его сюзерена был на этот счет тогда особый «пунктик». Таковы были «настоящие мужчины», властелины того времени\*.

Вдова Берии (с помощью сына) может сколько угодно говорить о рыцарской верности своего супруга. Пускай, если это ее утешает. И я бы ее поддержал молчанием. Но, к сожалению, это не только семейное дело. Это наш общий позор.

Сейчас в обескураженной России рвутся к власти те, кто будет наводить «марафет» на этот наш позор. Но надо сделать все для сохранения исторической истины. Только отстыдившись за то, что мы были во власти таких героев-любовников, мы можем освободиться от этого и жить дальше.

И еще одно — сравнительное воспоминание Б.Г. о каждом из трех ее следователей. Первый, 1930 года, был вполне компетентный в идеологических проблемах поляк, изустски разбирающийся в психологии своих подследственных. Следователь 1935-го был политически и всесторонне малограмотен, ему были безразличны и непонятны не только психология, но и политическая ориентация своих подследственных — все враги и всех — по одной мерке. Но это-то от него и требовалось. И наконец следователь 1948 года — просто выполнявший свои функции. Он лениво пробегал все встречи Б.Г. и выяснял, какие вопросы на них «освещались». По этой терминологии встречи эти должны были выглядеть политическими совещаниями, но он вполне удовлетворялся бытовым наполнением этого понятия. Тем более что Б.Г. была «повторницей», и допрашивали ее «для порядка» (Камил Икрамов просто на допросах играл со своим следователем в шахматы, а дело шло само собой). Однажды она вспыхнула:

— Вам, гражданин следователь, надо, чтобы я...

Но она не договорила, следователь прервал ее:

— Да ничего мне не надо. Ни-че-го...

---

\* Одной из принудительных любовниц Берии его адъютант по «сим делам» полковник Саркисов говорил, что Берия не любит только евреев. Но эта женщина была выраженной еврейкой и не стала от этого менее желанной. Просто у Воджа переменялись «пунктики», и это отражалось на сексуальных предпочтениях его «настоящих мужчин».

И она увидела перед собой усталые глаза. Ему действительно ничего не надо было, и все обрыдло.

Эти три следователя — я не собираюсь решать, кто из них предпочтительней (может быть, первый субъективно, да и объективно виновней остальных) — диаграмма развития системы, и думаю, не только карательной — в сторону бессмыслицы и прострации. Однако пора уже возвращаться от высот, на которые я взобрался, к сельской эмпирике, которая — пусть не по моей воле, но, как я теперь уверен, мне на пользу — и была тогда моей повседневностью.

### Районные будни

Так назывались публикуемые «Правдой» очерки Валентина Овечкина о сельской жизни. Сегодня они могут показаться наивными, хотя я не уверен — поскольку в них было не только изображение жизни. Тогдашней? Но ведь любая жизнь потом становится «тогдашней», а произведения, в которых есть дыхание, имеют свойство ее воскрешать. Будет ли так в данном случае? На такие вопросы я отвечать не могу. Но тогда его очерки поражали своей приближенностью к правде, к тому, что мы видели вокруг себя. Валентин Овечкин был вообще человеком искренним и правдивым. Когда-то, еще задолго до коллективизации, он был энтузиастом колхозного строя и еще во времена моей ссылки верил в возможность исправления ситуации. Надо, мол, только довериться хорошим и честным секретарям райкома и колхозным председателям. Кстати, такие в природе, безусловно, существовали.

Но, во-первых, система их не выносила и подминала под себя, а во-вторых, колхозный строй был создан не для лучшего производства, не для процветания крестьян, а для более удобного их ограбления. Потом, когда Овечкин в этом смысле стал прозревать, он этого не вынес и ушел из жизни. Его судьба и трагедия исчерпывающе раскрыты в замечательном очерке хорошо его знавшей Сарры Бабенышевой, к которому я и отсылаю читателя. Этот очерк через трагедию одного очень хорошего человека раскрывает трагедию времени вообще.

Но во времена «бесконфликтности» и беспроблемности очерки Валентина Овечкина возвращали реальность, обна-

жали тот простой и очевидный факт, что проблемы и конфликты, с которыми сталкивались все окружающие, — и в самом деле существуют. И как бы при этом они в этих очерках ни решались, это было глотком реальности, минутным освобождением от обязательной протрации. Кто-то, наверное, эти очерки проталкивал — это мне понятно. Хотелось верить, что дело поправимо, что работа в «Правде» имеет смысл. Но, видно, и Сталин эти очерки счел полезными. Неустройство сельской жизни слишком выпирало из всех щелей, и делать вид, что его нет, стало невозможно. А тут выяснялось, что все дело не в системе, созданной вождем, а в зазнавшихся Борзовых. Вопрос о том, кто такие «кадры» подобрал и посадил на шею народу, как-то затуманился. Просто предлагалось плохих Борзовых заменить хорошими Мартыновыми, так сказать, настоящими коммунистами. Публикация этих очерков была для Сталина очередным «Головокружением от успехов». Менять свои заменимые «кадры» он любил. Но что думал Сталин — его дело, а очерки Овечкина были пронизаны жизнью и все равно плохо сопрягались с господствующей протрацией. И они — достаточный повод, чтобы помянуть теплым, благодарным словом этого человека и писателя — особенно если использовать его заголовок.

Пройдут времена тусовочного снобизма, и его вспомнят с уважением и благодарностью — взгляды не все в человеке, есть еще и душа. Он не мог спасти советское сельское хозяйство, хоть к этому стремился, но как бы то ни было, он сохранил душу и помогал ее сохранить другим, хоть вряд ли ставил перед собой эту задачу и — человек иного времени и воспитания — вряд ли задумывался над ней. Я благодарен ему за его творчество и жизнь.

Естественно, мои «районные будни» были иными, ибо иным было мое положение. Местный Мартынов, даже если бы такой нашелся, не стал бы со мной делиться сокровенными тревогами, а обходил бы меня стороной — ему при этих тревогах не хватало только «связи с политическим ссыльным». Безусловно, смотровые точки были бы разными, но видели бы мы одну и ту же жизнь. Было бы о чем поговорить.

Конечно, масштабами района мне мыслить не пришлось — от районных забот я был отделен, если можно так выра-



зиться, герметически. Впрочем, слова: «интересы района» или «интересы области», — и потом для меня отдавали демагогией, причем даже с точки зрения советской экономики, — я понимал только, что значат интересы хозяйства и интересы страны. Конечно, «люди района», их жизнь, положение и судьба меня живо интересовали, но к мышлению «масштабами района» они имели не больше отношения, чем я.

Но однажды я столкнулся с явлением районного масштаба и даже счел благоразумным принять в нем участие. Это было участие в строительстве «методом народной стройки».

В те дни газеты много писали о том, что то тут, то там трудящиеся по своей инициативе методом народной стройки, то есть совершенно бесплатно, исключительно за счет трудового энтузиазма и высокой сознательности, дружно строят клубы, электростанции и другие полезные объекты. Наш район долго не откликнулся на эту всенародную инициативу, но, видимо, дальше уже терпеть нельзя было, да и втык начальство, наверное, получило. Короче, были назначены день и час начала нашей, первой в районе народной стройки. Оказалось, что стихийно по собственной инициативе народ решил строить... новое здание райисполкома. Со стороны такое применение обязательного энтузиазма выглядело намеренным издевательством, но таковым не было даже субъективно и уж точно так не воспринималось. Ибо привыкли. Остальное, к чему привлекали народ, было не лучше. Издевательством была вся жизнь.

Как народ узнал, что он так решил? А просто — по телефонограммам из райкома окрестные колхозы и учреждения выделили людей, и главное — транспорт. Конечно, были развешаны и объявления. Я и такие, как я, пришли для демонстрации лояльности, девушки — в неясных надеждах, многие парни — тоже. И началась народная стройка. Перипетий я не помню, просто немного поработали и разошлись. Что делали, не помню, но и в день моего отъезда никаким зданием и не пахло. И никого это не волновало. Большая часть «энтузиастов», особенно колхозников, справедливо не видела разницы между призывами начальства и его приказами, с которыми лучше не спорить. Так же они шли на всякие дорожные повинности и «срочно мобилизовывались» во время лесосплава на ловлю упущенного по

халатности райисполкомовского плота (дрова и лес, заготовленные для райисполкома и его работников). Почему считалось, что колхозники обязаны это делать, вряд ли кто мог бы объяснить. Просто все привыкли к тому, что они являются собственностью районного и всякого иного начальства (в основном тоже вышедшего из этой среды). Это было в порядке вещей. И то, что в газетах и по радио это оформлялось как непрерывный энтузиазм, тоже.

Так что поговорить с местным Мартыновым, если бы он существовал, вполне было бы о чем. Но это было бы невозможно. Это было бы смертельно опасно не столько для меня, сколько для него. Такое положение тоже воспринималось как естественный порядок вещей и тоже им не было. Такого вообще никогда не было. А собственно, почему функционеру на личном уровне нельзя было общаться со ссыльным? Даже если бы я и впрямь был противником режима? Откуда такая уверенность, что я смогу сманить этого Мартынова в свою предполагаемую ересь, а не он меня возвратит в свою правильную веру? Но Вождь вовсе не нуждался в том, чтобы вернуть меня в правильную веру. Вождь нуждался в разобщении — чтобы этот Мартынов никогда не узнал того, что знаю и думаю я, и что его смутные подозрения кто-то сформулировал и выразил. Вождь вовсе не верил в свою правоту, он просто в ней не нуждался.

А этот «метод народной стройки» зачем понадобился? В сущности, в нем самом нет ничего нового — он всегда существовал в русской деревне. Люди часто сообща строили дом погорельцу или какое-нибудь нужное им общественное здание (допустим, школу). Делали нужное и понятное дело, мог овладевать ими при этом и азарт работы, после этого пили и закусывали, но ни за какое торжество высокой сознательности и праздник это никто не выдавал. А теперь делалось дело, никому (во всяком случае, из тех, кто его делал) не нужное и не понятное, угощали барабанным треском. И треск этот нужен был сам по себе. И все равно, что там строить — электростанцию или райсовет, главное — трубить об энтузиазме. Главное — разобщать людей, в том числе и собственных функционеров (бессмыслица, которой надо соответствовать, разобщает), с другими людьми и с самими собой. И это действовало.

Сарра Бабенышева рассказывала мне, что человек, с которого Овечкин писал Мартынова, ставший к тому време-

ни секретарем обкома, не принял XX съезда, обиделся за Сталина. Видимо, никак не связывал его с Борзовым. Облучение действовало и на таких. И все-таки мне жаль, что судьба меня не свела и не могла свести с подобным Мартыновым. Ведь путался он в общем осмыслении происходящего, а саму жизнь все-таки видел. Главное не во взглядах, а в желании видеть, в доверии собственным глазам, на которое не без успеха покушался Сталин.

Не знаю, как Мартынову в Средней России, а мне здесь своим глазам верить было иногда трудно, но приходилось.

Одно время Б.Г. снимала койку у одной вдовы-колхозницы. Колхозницей эта женщина была вполне исправной, работала телятницей, получала 400 трудодней в год. Это был ее «оклад» — больше она заработать не могла, сколько бы ни старалась. У нее были свой огород и свое молоко, корова или коза, теперь не помню (да и местные коровы, как я уже здесь отмечал, давали молока немногим больше, чем козы). То есть женщина была неленивая. Так вот у нее не было ни одной целой одежки. Нет-нет, она совсем не ленилась их зашивать или латать. Просто все они состояли из стольких громадных дыр, что иголке там уже делать было нечего, не за что зацепиться. Выходила она из положения тем, что надевала несколько таких одежек друг на друга, и целые места одной покрывали дыры другой. И как-то существовала даже в сибирские морозы. А куда ей было деваться? Однажды я подсчитал с ней, сколько она получила ЗА ГОД. Денег она не получала совсем, но все продукты, которые ей выдавали из кладовой колхоза, я мысленно «продал» на местном базаре по местным ценам. Получилось не то 320, не то 330 тогдашних рублей (после хрущевской реформы 32 или 33 рубля). Что это значило? Почти столько же (310 рублей) получали санитарки в больнице или уборщицы в учреждении ЗА ОДИН МЕСЯЦ. Дядя Вася и его жена тетя Паша — тоже. Но все они, ничем от нее не отличаясь, относились к высокопоставленному сословию «рабоче-служащих», что означало «неколхозников», и им это было положено. А поскольку она была колхозницей, крепостной, черной костью — плюнуть и растереть, — она ПОЛУЧАЛА В ДВЕНАДЦАТЬ РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ САМЫЙ НИЗШИЙ ПЕРСОНАЛ ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ. Я не утверждаю, что разница всегда была столь огромной, но это в принципе отра-

жает отношение сталинского государства к прославляемым колхозникам.

Была у этой женщины дочка — девочка лет четырнадцати. До водворения к ним Б.Г. девочка эта никогда не была в кино, хотя в клубе, находящемся в двух шагах от их избышки, фильмы крутили несколько раз в неделю. Но ведь дневная зарплата ее матери была меньше рубля, который надо было истратить на билет. Б.Г. дала ей этот рубль, и она впервые сходила в кино, познакомилась с этим «чудом XX века».

Я не хочу сгущать краски. Эта вдова жила хуже всех, кого я знал (правда, знал я не всех). В основном дети в кино иногда бывали. И жили все же не так. Но очень часто, когда я нес из магазина хлеб, дети, попадавшиеся мне навстречу, отрывались от своих игр и просили:

— Дядь Наум, дай хлебца кусочек...

Нет, это не было мольбой голодающих. Все они дома поели вдоволь картошки, приправленной молочком, — просто они хотели полакомиться. Для них, для детей хлеборобов, хлеб был лакомством. Особенно в Чумакове — в заречном Ушкове давали на трудодень целый килограмм пшеницы.

Кстати, и в Чумакове, как я потом узнал, дела раньше шли лучше, чем сейчас. Местным колхозом руководила энергичная женщина, умевшая защищать интересы своих колхозников. Но районным прокурором работал некий Шевченко, бессовестный пьяница, регулярно требовавший выпивки с руководителей предприятий и учреждений района. Баба она была с норовом и однажды ему отказала. Он тут же усмотрел в ее деятельности какие-то нарушения (а у кого их могло не быть), подогнал их под то, с чем как раз тогда «велась борьба» (а с чем-нибудь она всегда велась, и это усиливало наказание), придал им соответствующий юридический вид и... упек председательшу в лагерь. «Справедливость восторжествовала» — прокурор восстановил свой авторитет представителя власти и ликвидировал пробел в сети «причитающегося» ему по штату пропивочного обеспечения, а колхоз быстро пришел в то состояние, в котором я его застал.

Прокурор Шевченко все-таки на чем-то погорел. Судила его уже при мне выездная сессия областного суда. Процесс был показательным. Я был на этом суде. Рассказанный выше

эпизод его биографии не был мне еще известен, но все равно он показался мне мужичонкой невзрачным и каким-то гаденьким. Но слова он, конечно, знал все и упирал всё время на предубеждение людей против работников прокуратуры, несущих свою нелегкую и неблагодарную службу. Эпизод с председательшей, видимо, тоже относился к этой нелегкой и неблагодарной службе. Правда, он не упоминался. Большое место в этом процессе занял свидетель Дулев, по-уличному дед Дуля, конюх прокуратуры. Сцена его допроса, вставная для моего повествования, безусловно, требует запечатления. Его показания вызывали веселый сочувственный смех присутствующих, и именно потому, что касается господствовавших тогда нравов.

— Свидетель Дулев, что вы можете сказать по делу?

— Да что сказать? Сказать мне нечего. Кошовку вот я прокуратуре купил (кошовка — легкие сани на полозьях. — Н.К.).

— Как это купили?

— Да так. Заказала, значит, прокуратура кошовку в райпромкомбинате... Ну, звонят отсюда, получайте, дескать, девать некуда. Не в первый раз звонят, теперь грозятся продать кому-то еще. Он — прокурор Шевченко значит — и говорит: «Дед, выручай, заплати за кошовку — срочно надо забирать, а денег на счету нет. Получим — отдадим». Ну и все.

— Что значит: «все»?

— А то, что все. Купил кошовку. Шевченко, пока не сняли, на ней ездил. Теперь прокурор Литвинов... Кошовка хорошая...

— А деньги вам вернули?

— Да нет, кто ж вернет? — и вслед за этим, примиренно: — Да я с него не требую... Ладно.

Видимо, на следствии дед давал показания охотней и менее миролюбиво — возмущен был непосредственной и надеялся, что деньги вернут. Теперь он убедился, что денег ему все равно не вернут, да и топить прокурора не захотелось — все-таки знакомый. Дальше в своих показаниях дед даже начал немного темнить. Например, «забыл», что он и водку покупал за свои — опять-таки при обещании вернуть. Так что прокурор или судья напоминали ему его собственные показания на следствии и грозили ответственностью за дачу ложных показаний. Дед тут же вспомнил, что да, действительно покупал и водку.

— Вас за ней Шевченко посылал?

— Зачем «посылал»? — возразил дед. — Я сам ходил, добровольно, я тоже выпить люблю.

Дед был книгочей и вычитывал из книг диковинные вещи. У Белинского, например, что никого вообще не надо судить. И теперь в кулуарах дед ссылался на какие-то слова того же Белинского из статьи о «Гамлете», тоже понятые им как «не судите — не судимы будете». Начальство улыбалось чудачеству, но не возражало. Что возражать чудаку, да и Белинский тогда был приравнен к классикам марксизма-ленинизма — темна вода во облацех. Конечно, упражнения старика в философии были малограмотны и доморощенны, но он явно был из взыскующих града.

Шевченко все отрицал. Но срок получил. Кажется, потом — доходили такие слухи — ему часть срока скостили. Нашли смягчающие обстоятельства. Но обезглавленный и потому разоренный им колхоз в ближайшие годы на ноги не встал — хотя бы настолько, чтобы упомянутая выше телятница могла заработать дочке на кино.

Председательшу эту я тоже видел. Когда она вернулась — то ли пересмотрели дело, то ли просто срок был небольшой. Скорее второе, ибо положение ее не восстановилось. Когда мы построили саманный дом, она с еще двумя женщинами подрядилась штукатурить и белить стены. Кто она, выяснилось случайно. Она сама об этом заговорила. И я опять услышал эту несложную, но страшную историю. Женщина эта была стройная, крепкая, энергичная, с приятным и умным лицом — иллюстрация к строчке: «Есть женщины в русских селеньях...» В ее рассказе о своей судьбе была горечь, но и презрение к Шевченко. Да и — пусть менее осознанное — к положению вещей, к порядку, позволившему ему развернуться. Районные власти должны были бы ей в ножки поклониться: «Вернись, матушка, помоги, без тебя колхоз в райцентре совсем захирел!» — но теперь у нее анкета была не та, и это было невозможно.

Поразительное дело. Райцентр, где Шевченко все это проделывал, был деревней, где все, и власти тоже, всё про всех знали. И представляли, кто здесь чего стоит. И, уж конечно, подлинный смысл этой истории не был для властей тайной. Вряд ли они сами были заинтересованы в исчезновении стоящего председателя. Но, видимо, против демаго-

гии, которой «к моменту» (кто лет через пять помнил, какой это был «момент»?) воспользовался Шевченко, сделать никто ничего не мог\*. Райкому гораздо проще было при случае подвести его самого под статью и таким образом избавиться от него. Благо его далеко не безупречное поведение могло легко предоставить такой случай. Что, как я думаю (но не знаю), и было сделано.

Без райкома наверняка не обошлось. Ибо тогда, как я потом узнал, без санкции райкома уголовные дела против членов партии не возбуждались. Во всяком случае, в последние годы сталинщины и сразу после нее. Я уже говорил, что уголовное наказание могли заменить «более страшным для коммуниста» — выговором. Конечно, если дело возбуждало МГБ, эта санкция превращалась в пустую формальность, штамповалась автоматически. Но тут дело было только о вымогательстве (а не дай Бог, не о высказывании), и райком вполне мог подать голос в его защиту. Мог, но не захотел. Даже если дело возбудил не он. Видимо, Шевченко уж слишком развеселился и стал неудобен.

Но на судьбе председательши это падение ее погубителя не отразилось. И когда она вернулась, для нее и побелка была заработком. Надеюсь, после смерти создателя патологической системы эту женщину восстановили в правах и разрешили реализовать свой потенциал и приносить хоть какую-то пользу родному государству.

Могут сказать: что тут беспокоиться о председателше? Колхозный строй весь никуда не годится. Какая разница? Но, во-первых, речь идет о судьбе живого человека, причем человека талантливого. А во-вторых, вообще о людях. При том же колхозном строе и в тех же природных условиях в заречном Ушкове люди жили лучше, чем в Чумакове. Да и в Чумакове при своей председателше люди все же как-то жили. И райкому для отчетности было лучше. И тот факт, что питейное самолюбие прокурора Шевченко оказалось важнее и тех, и других интересов — очень существенен.

\* В чем конкретно ее обвиняли — не помню. Иногда мне кажется, что она просто один раз в отчете занизила урожай, сдала не все и помогла своим колхозникам стать на ноги, а на следующий год расплатилась со всеми недоимками. А недовыплативший блюститель государственной пользы раскопал это разумное нарушение. О таких случаях я слышал потом не раз. Правда, конец был всегда тот же, что и в Чумаках — колхоз хирел и обростал недоимками.

Все оказалось ничем перед «политикой», перед «авторитетом руководителя» и перед любой подобной чертовщиной. А чертовщина на то и чертовщина, чтоб никто толком не знал, чего бояться. Если существовала «диалектика», благодаря которой засеивание громадных площадей при нехватке рук и плохой обработке рентабельней интенсивной обработки возможного, то вполне могла существовать и такая, благодаря которой толковый председатель и отсутствие крайней нищеты гораздо меньше соответствуют «интересам народа», чем председатель-пьяница и нищета колхозников. Конечно, в некоторых конкретных обстоятельствах.

Ведь их всех учили, что истина конкретна. А под истинной, как они убеждались на практике, подразумевалась непонятная воля начальства, которую местным руководителям следовало угадывать. Не заметить эти никому не известные и непонятные обстоятельства было для них смерти подобно. Легче было посадить председательшу и разорить колхоз, а потом «бороться» за его возрождение. Жизнь районного руководителя, как я теперь понимаю (хоть с ними не общался), была тоже не сахар.

Кстати, знал я еще одного колхозника из этого горевого колхоза. Точнее, знал его не я, а мой друг Алик Волинский, появившийся в моей жизни чуть позже и о котором — чуть ниже. Алик познакомился с этим колхозником в «урмане», на лесозаготовках и много рассказывал о нем. Однажды я даже был с Аликом у него дома и пил с ним «чай» — кипяток, заваренный на сушеной моркови. Другого чая колхозники тогда не пили. Звали его, кажется, Миша. Был он человеком моего возраста, по-видимому, фронтовиком. Не очень высоким, широкоплечим, крепким и, я бы сказал, насквозь трудовым. Это ощущалось даже в его внешности. Доброе его лицо выглядело мрачным. И это неудивительно. Этот потомственный крестьянин был — безо всяких натяжек — трагической личностью. Более того, носителем и воплощением национальной трагедии. Хотя это слова не из его обихода. Трагедия его заключалась как раз в том, что он был и оставался настоящим крестьянином, мужиком. В каком-то — отнюдь не уничижительном и не смешном смысле — Санчо Пансой. Но жил он во времена, когда Санчо Пансы, ничуть не изменившись, стали выглядеть в родных деревнях Дон Кихотами. Он был человек того же типа, что и Михаил Пряслин из тетралогии Федора Абрамова.



— Вы знаете, какое теперь время? — спрашивал меня уже в другое время С.Я.Маршак. И сам отвечал: — Такое теперь время, когда мужик Твардовский выглядит в собственной стране иностранцем.

Он имел в виду не уровень личности, а только нравственные качества.

Так вот нечто в этом роде.

Но «крестьянские добродетели» Твардовского проявлялись на ином уровне и в иной, некрестьянской деятельности. А Миши — Пряслин и чумаковский — применяли их в той жизни, которой эти добродетели были порождены. И выходило, что они безнадежно отстали от нее. Она их обогнала (только вот жизнью ли она была?) по дороге к пропасти.

Трагедия его усугублялась тем, что работал он очень много, в голове держал тоже очень многое — думаю, что в этом развалившемся колхозе многое из того, что еще держалось, держалось на нем, — но все равно благосостояние семьи держалось на зарплате жены, больничной санитарки. Конечно, его роль в их «подсобном хозяйстве колхозника» была велика, но вряд ли весь его вклад достигал, а тем более превышал те триста десять рублей, которые зарабатывала жена. Жена у него была хорошая, любящая (еще бы, на таком безмужичье да такой мужик!), своим вкладом в семейный бюджет не бравировала, но его самого, наверное, не могло не уязвлять такое положение: мужик, с руками, с головой, сильный, трудится с утра до ночи, а не может за бабой угнаться. Но это только мои «проникновения» — ни от него, ни о нем я никогда ничего похожего не слышал.

Говорил он о том, что творится в колхозе. Да и на лесозаготовках. Везде, где он бывал, его оскорбляли и буквально раздирали ему сердце наглая бесхозяйственность, торжествующая нелепость, надругательство над здравым смыслом. То, что он говорил, не походило на позднейшие знаменитые «разговоры на московских кухнях». Он не стремился блеснуть умом, поразить обобщением (он, может, и не знал, что это такое и зачем надо), он просто изливал свою боль и тревогу по поводу того, что происходило с ним и вокруг него. Болела у него душа не только за людей, но и за рабочую скотину, за безответных быков, с которыми —

хоть в колхозе, хоть на лесозаготовках — озверевшие люди обращались совершенно безжалостно: заставляли вытягивать непосильный груз и почем зря до крови лупили не только кнутами и хлыстами, а большими сучковатыми поленьями. У людей были на это свои резоны, им надо было больше выработать именно сейчас, а остальное — побоку.

Государство всей своей практикой внедряло в людей люмпенское, батрацкое сознание — добивайся ближайшей цели любой ценой, и ладно. А в нем еще прочно жило — пусть атавистическое, пусть не к месту — чувство настоящего хозяина. Как можно не беречь скотину, которая помогает тебе жить и работать! Он, повторяю, был человеком моего возраста и, следовательно, никогда самостоятельно не хозяйствовал. Не «крестьянствовал», как выражался дед, у которого мы жили потом в Ушкове. Крестьянское чувство иногда просыпалось не только в нем. При мне сапожник Гриша, когда я учился потом сапожному делу, рассказывал, с каким чувством вез на корове дрова из «урмана» (это делали многие — получить быков было трудно):

— Погрузил, она везет, а я от нее прячусь — стыдно ей в глаза смотреть. Вроде думает: что ж ты дрова на мне возишь? Совсем совесть потерял? Ты ж молоко мое пьешь!

Это отзывался болью разрушенный мир деревенского человека. Тогда он еще существовал. Существует ли теперь? Не знаю. А что дали взамен? Пустоту? Тем и запомнился мне Миша, что никак не мог примириться с этой пустотой, признать небытие бытием.

Такой выбор стоял перед всеми, в том числе и перед людьми интеллектуальных профессий. Все ли его заметили? Впрочем, иронизировать над этим не стоит. Вспомним дело Даниила Андреева — на то, что говорилось в деревенских избах (и, как мы видели, даже на улицах), органы МГБ обращали гораздо меньше внимания, чем на то, что говорилось в профессорских квартирах. Больше, по-моему, из-за комплексов, чем из понимания опасности — в тот момент ничьи разговоры уже не были опасны Сталину: страна была обессилена и обезглавлена. Не говоря уже о том, что отравлена тотальной дезинформацией.

Впрочем, я несколько отвлекся, даже забежал вперед. Я еще не знаком даже с Аликом, который однажды привел меня к Мише, а не только с Мишей. Просто я хотел закон-

читать разговор о горевом чумаковском колхозе. Больше прямых соприкосновений с жизнью этого колхоза у меня не было.

Меня несколько раздражает бессюжетность моего рассказа о ссылке. Но ничего не поделаешь — «на войне сюжета нету», как сказал об обстоятельствах, имеющих со ссылкой весьма отдаленное, но все-таки сходство, Твардовский. Ссылка — не война, но когда главный фактор твоей жизни — невозможность сдвинуться с места и строить свою жизнь по своим представлениям, сюжет не получается. Получаются впечатления. Впечатления о времени, которое проявлялось и здесь. О времени, когда Россию убивали, а она еще жила. Следовательно, о людях — ссыльных и местных. Но о местных я рассказываю по ходу пьесы. А ссыльные со своими судьбами вываливаются из этого рассказа. Поэтому сейчас я буду рассказывать с ссыльных, об их судьбах.

Начну с уже упоминавшегося Алика (Ольгерда Яновича Волинского). Поскольку в моей ссыльной жизни он всегда присутствовал. Присутствовать в ней он начал даже на несколько месяцев раньше, чем я его увидел. О нем мне много рассказывала Б.Г., с которой он прибыл одним этапом. Хороший интеллигентный мальчик, сын расстрелянных в тридцать седьмом польских коммунистов, в лагерь попал из детдома, теперь он в Крещенке, много читает, любит стихи, хорошо бы его перетянуть сюда. Но «перетянуть» его Б.Г. не имела никакой возможности. Однако он «перетянулся» сам. Однажды он вдруг появился на пороге нашего жилища в Ушкове. Скорее веселый и жизнерадостный, чем угнетенный. Худой, в ватнике. Приехал он именно с этой целью — перетянуться. Наутро он пошел в райотдел — просить о переводе. Такое и вообще было нетрудно, да и судьба ему в этом благоприятствовала. Работники МГБ, уже упоминавшиеся дядя Вася и Миша Зонов, с одобрения начальства пригласили Алика принять участие в каких-то срочных хозяйственных работах, а потом и поехать в «урман» (в ту же Крещенку и на лесозаготовки), откуда он прибыл на плоту. Работал он потом, если мне не изменяет память, в больнице (и тоже зимой выезжал в «урман») и в райпромкомбинате — был учеником плотника Нидера. Но все это были частности. Не частности только то, что начиная с момента, когда он вырос на пороге, мы с ним жили и обща-

лись тесно. Потом вместе строили дом и жили в нем. Он же и проводил меня до тракторных саней, на которых я отбыл из ссылки после конца срока.

Начать бы надо с трагической истории, связанной с пребыванием Алика в «малолетке» — колонии для малолетних преступников. Но в «малолетку» Алик попал из детского дома, а в детский дом — из родительского, в 1936-м или 1937 году, когда его родителей арестовали.

Родители Алика (отец — поляк, мать — еврейка) были польскими коммунистами. В паспорте (которого у него, как у всех нас, не было) он именовался бы Волинский Ольгерд Янович. Домашние, когда они были, называют его Алесем, так его и теперь зовут в Польше, где он живет уже много лет. Но в России он был для всех (и остается для меня и поныне) Аликом. Отец его был членом ЦК польской компартии и жил с семьей в Минске, но временами, видимо, уезжал (или уходил — граница была в двадцати километрах от Минска) в Польшу на подпольную работу. Когда кому-то взбренило его арестовать, он был как раз в Польше, но его не поленились вызвать срочно в Москву. Он нелегально перешел границу — для того чтобы, придя домой, быть арестованным. Мать была арестована вместе с ним или чуть позже. Алика вместе с сестрой Ивонной и братом Мишей тоже увезли из дома. Сначала в детприемник, а потом увезли куда-то в Поволжье. Там Алик и был помещен в детский дом.

Видимо, это был детский дом для осиротевших детей, чьих отцов Сталину почему-то понадобилось арестовать и кончить как «врагов народа». В основном почему-то без публичной клеветы и огласки. Там, например, жил сын бывшего завагитпропом ЦК Стецкого. Тем не менее дом этот был обычным детским домом, где дети жили и учились. Читали. Много читал и Алик. Потом началась война и стало голодно. Директриса детского дома стала подворовывать продукты, обкрадывать детей. Дело советское, житейское. Но у сына «врага народа» Алика по книгам, которые он читал, представление о советском сложилось другое. И он выступил на каком-то собрании и сказал, что такое поведение директрисы не соответствует традициям Макаренко. Директриса обвинила своего тринадцатилетнего воспитанника в антисоветской агитации. И его арестовали. Пришли два амбала с пистолетами — время военное! — и увели.

Воспитатель, стремящийся погубить своего воспитанника и пишуший на него фальшивый донос, — явление доселе не слыханное в истории русской педагогики. Даже по советским меркам считалось, что если ребенок ошибается в своих суждениях, ему следует терпеливо разъяснять его ошибки. Но ведь тут был сын «врага народа», а яблоко от яблони недалеко падает — так я тебе покажу, как мешать воровать! Я предъявляю это обвинение человеку, о котором ничего не знаю, с чистой совестью — если женщина смогла совершить такое неженское преступление против ребенка, то уж, будьте уверены, еду у детей она тоже воровала.

Кстати, у меня сложилось впечатление, что «сталинщина» как жизненный уклад, как открытая и глубоко эшелонированная бессовестность сложилась, как ни странно, только во время войны. Только во время войны психологические последствия того, что было проделано над жизнью, сказались на простых людях, выступили наружу, на первый план. Только во время войны тень моральной атмосферы, царившей в верхах, легла на всю жизнь. Выиграли войну не благодаря этому, а несмотря на это.

То, что нам сегодня в этом времени кажется разумным и принесшим пользу, было разумным, полезным и даже необходимым только внутри этой системы, в нелепых ситуациях, ею же создаваемых. С создаваемым Сталиным бардаком и хаосом могла действительно справиться только порождающая его «железная сталинская воля». Поэтому все разумное и полезное, что удавалось сделать, обходилось нам максимально дорого, иногда разрушительно дорого. С такими выдвигенцами, как эта директриса, это не могло быть иначе.

Ее «сигнал», конечно, был принят, Алик арестован, его даже привезли в Москву и там водили на допросы. Небось со стороны выглядело красиво — впереди и сзади два лба, укрывшихся здесь от фронта при полном вооружении, а в середине Алик в коротких штанишках. Похоже, и следовательно было допрашивать его неловко. И он даже добился приема у министра. Но встреча провалилась.

Алика ввели.

— Ну, что скажешь? — спросил министр. Но Алик в ответ мрачно молчал. Почему — я и теперь не знаю.

— Ну что ж, молчишь? Тогда уведите его, — сказал занятый делами руководитель. И то сказать — обращению с детьми он не учился.

Такое было время, что идиотский донос осатаневшей бабы оказался сильнее, чем остатки здравого смысла двух выдавших виды и отнюдь не сентиментальных мужиков — следователя МГБ и министра.

И Алик в 1943-м или в 1944 году получил пять лет лагерей. Существенную часть своего срока он отбыл в детколонию. Тут-то и произошла (не с ним) та история, которую я хочу рассказать.

Колонией, куда он попал, руководил энтузиаст и впрямь последователь Макаренко. Разумеется, «пятьдесят восьмой» (кроме Алика, но он был исключением) среди его подопечных не было — одни уголовники. И он всерьез взялся за их перевоспитание. Подобрал соответствующий коллектив и начал активно работать. Открыл школу-семилетку, которую окончил и Алик, — вообще добился ощутимых успехов. Но обернулись они трагедией. Дети исправлялись, даже начали строить планы на будущее. Однако все его мотивированные просьбы о досрочном освобождении исправившихся оставались втуне — в крайнем случае им уменьшали срок на несколько месяцев. А это было не только несправедливо, но и опасно. Когда кончалось «малолетство» этих исправившихся, их забирали на взрослый этап и сажали согласно статье вместе со взрослыми уголовниками. А те с ними расправлялись, как с «суками» — попросту убивали: в ГУЛАГе тогда шла описанная В.Шаламовым «сучья война». Эти несчастные юноши завидовали Алику: «Тебе, Алик, хорошо, тебя к политикантам посадят, они тебя не только не убьют, а еще и подкормят... А нам...» — и безнадежно махали рукой. Так в сталинском государстве изничтожалось доверие к хорошим, нормальным словам и намерениям.

Но гибель ворвалась и в колонию. Сталин ввел двадцатипятилетние сроки, а с середины тридцатых все санкции в полном объеме применялись и к несовершеннолетним. В колонии стали поступать малолетки с двадцатипятилетними сроками, которым ничего не было ни страшно, ни жалко. Они повели против исправившихся «активистов» систематический и подлый террор. Отрубил такой «активисту», пусть даже популярному среди товарищей, голову топором

и бежит сдаваться на вахту, под защиту закона. Закон ему не страшен — он ему опять отвесит те же двадцать пять. Но у нас сроки не плюсоются — значит, только те 2—3 месяца, которые он уже отсидел. Так что бежит он не от закона, а к закону — ему главное избежать отмищения товарищей.

Все, что начальник колонии сумел создать за несколько лет, полетело прахом. Он запил и спился, чуть ли не кончил самоубийством. Пострадал он за то же доверие к советской идеологии, к тому же Макаренку, что и сам Алик. Верил, что государство действительно заинтересовано в том, чтобы перевоспитать оступившихся несовершеннолетних. А государство — все государство — было заинтересовано только в том, чтоб угодить Сталину, которому пришла в голову очередная гениальная мысль.

Потом Алик сидел во «взрослом» лагере, и действительно среди «политикантов», и действительно они его не обижали, а опекали. Интеллигенции всех формаций и профессий там хватало, и они его многому научили. Во всяком случае, в ссылке я встретил вполне интеллигентного товарища и собеседника.

Рассказывал он истории и смешные и страшные. Особенно про малолеток. Например, малолетка спер у кого-то или где-то большой кусок масла. Его поймали и стали избивать кулаками, поленьями, железяками — чем придется. Малолетка же согнулся в три погибели, подставив мстителям спину, а сам, укрывшись под ее шатром, даже не стонет — ему некогда, и рот занят. Он занят запихиванием этого масла в рот, чтоб успеть побольше отъесть (или все съесть) — пока не отобрали. Рационалист и прагматист. Жиры нужны для выживания.

Или другое. Лагерь где-то под Архангельском во время войны — при заводе, выполняющем оборонный заказ. В инструментальном цехе работает один старый меньшевик — мастер высочайшего класса (мелькает мысль, не Гвоздев ли это, описанный Солженицыным?). От него, как от нашего симского Сергея Боровикова, зависит выполнение этого, по-видимому, очень важного оборонного заказа. Работает он добросовестно, высочайший мастер, но становится беспомощным без очков. А очки у него непростые — сразу не заменишь. Малолетки угадывают наиболее острый момент, когда или выполнение заказа под угрозой срыва, или

когда, наоборот, еще немного, и заказ будет выполнен, когда, возможно, уже отрапортовали, что все в порядке, и именно в этот момент выкрадывают у старика очки. И прячут их так, что и с собакой не найдешь. Их, конечно, можно арестовать, осудить, даже расстрелять за пособничество врагу, но выполнению заказа это не поможет. А Центр в данном случае ждет запланированной продукции — невыполнение задания весьма чревато для всей цепи начальств. По законам военного времени. Приговоры малолеткам его не удовлетворяют. И приходится начальству вступать в переговоры с этими малолетними пособниками Гитлера и выполнять их требования. Правда, у тех фантазия не очень богата, да и требовать лучше то, что можно получить: масло, тушенку, хлеб. И — получают. Конечно, все эти товары на строгом учете и оформить такую растрату трудно. Но — справляются. После чего непостижимым образом, как будто и не пропадали, появляются очки, и заказ выполняется в срок.

Забавно. То есть тогда было слушать про это забавно. Хотя мальчик, спрятавшийся сам под себя и поедающий под градусом побоев украденное масло, — картина не такая уж забавная. Но сегодня, в исторической перспективе, которая тогда не была так ясна, это выглядит вообще невесело.

Это шла закалка той психологии, которая поражает сегодня страну и весь мир своей полной свободой от всего человеческого. Дореволюционные уголовники тоже не были сентиментальны, но перед выбором: «умри ты сегодня, а я завтра» их никто не ставил. В «мертвом доме» обходились, конечно, без разносолов, но сытость не была проблемой — ни дистрофии, ни пеллагры не было. Да и предыстории за ними такой не было. Их (или их родителей) не пропускали через массовое воспитание бессовестностью в виде коллективизации, раскулачивания, да и трупов на улице они не видели. Все это не только было страшно само по себе, но и дало толчок мощному процессу. Который, как показывают эти факты, уже и в послевоенные годы достиг высокой стадии. Дальше он только развивался. Сегодня он властно овладевает государственными структурами. А как сегодняшней беспредел отражается на психологии нынешних малолеток — я об этом однажды читал в «Литературной газете», — и думать страшно.



От Алика же я впервые услышал историю из серии (вполне, кстати, правдивой), «С.М.Буденный и тридцать седьмой год». История не такая красочная, как не однажды описанная о «круговой обороне», которую, узнав, что на него выписан ордер, маршал-конармеец держал против органов НКВД, пока Сталин не очухался и не сообразил, что Буденного сажать ему незачем. Но все же впечатляющая.

В связи с каким-то из оборонных заказов на завод, где работали заключенные, прибыл инженер из министерства. Однажды, оставшись наедине с группой заключенных и желая преодолеть некоторое естественное отчуждение, инженер сказал:

— Да я вас, ребята, хорошо понимаю — я чуть сам не оказался среди вас. Меня Буденный спас.

Аудитория удивилась. Все знали, что спасти никто никого не мог. Но оказалось, что Буденный и не обращался ни в какие инстанции, а действовал самостоятельно — «по-нашему, по-простому». Правда, используя при этом свое высокое положение. Используя то, что, кроме всего прочего, он был заместитель наркома сельского хозяйства по коневодству, что как-то затмевалось его прочими должностями и званиями.

— Мы с ним друзья еще по Гражданской, — объяснил инженер. — Иногда встречались, выпивали. И вдруг вызывает он меня к себе и говорит: «Вот что. Завтра, не откладывая, поедешь на Кубань». «Это еще зачем?» — спрашиваю. «Будешь директором конесовхоза». Я ему: «Ты что, Семен, спятил? Я же инженер, я же в коневодстве ни бельмеса». А он мне: «А ты жить хочешь? Не видишь, что творится? Вот тебе назначение, билет, и чтоб завтра к вечеру твоей ноги в Москве не было». Я и поехал. Года два там проработал, а потом волна схлынула — вернулся. И вот живу.

Не знаю, уцелел ли он во время второй волны — в 1948—1949-м, — тогда не только сажали «повторников», но и подбирали «остатки» (вспомните моих лубянского сокамерников Богданова, Соколова и Уралова). Но тогда уже было не так страшно — уже не расстреливали.

Знаю, что таким же образом Буденный спас отца моего друга, Геннадия Иванова. Тот был красным партизаном где-то в Сибири, уже немного посидел в родных местах, но его выпустили. Однако вскоре он почувствовал, что тучи над ним опять сгущаются. Рванул в Москву и явился к Буден-

ному, которого хорошо знал, — просить бумагу, удостоверяющую, что он действительно был красным партизаном. Буденный его выслушал и в просьбе отказал.

— Не дам, — твердо сказал он.

— Ну что ж, — грустно сказал проситель (в те дни и не такие предательства были обыденными), — тогда я пойду. Поеду домой.

— Не поедешь! — сказал Буденный.

— Это почему? — испугался гость.

— А я тебя не пушу, — объяснил Буденный.

— Да почему же?

— А потому, что дома тебя арестуют и кончат.

И применил свой универсальный рецепт:

— Поедешь на Кубань, директором конесовхоза.

Буденный не знал «диалектики», не размышлял, что это значит, а просто видел, что происходит. И вел себя по-народному — понимал, что в этой вакханалии (хотя вряд ли он употреблял это слово) главное — увернуться. И уворачивался. И кого мог, «уворачивал» тоже. Ум и интеллектуальность — отнюдь не тождества. Он совсем не был интеллектуалом, но был умным человеком. И пусть по-своему, но порядочным, причем в обстановке тотальной непорядочности. И это до сих пор вызывает мое уважение к нему. И благодарность. Хотя спасал он не меня и не кого-нибудь, кого я знал. И хотя рассказ об этом только краем касается моих воспоминаний об Алике.

Рассказывал Алик и смешные истории, связанные с его пребыванием в Крещенке. Например, об одном пожилом человеке, прибывшем с нашим этапом. Я его помнил. На вид провинциальный бухгалтер. Носил он белые валенки-чесанки, подбитые снизу красным, как бы обутые в красные галоши. А так как это сочеталось с невероятно гордым видом, то он почти сразу получил прозвище «Гусь лапчатый». Привезен он был сюда из Таганрога, где он жил и откуда, кажется, был родом. История его и специализация сводились к тому, что он был кляузником. То есть непрерывно писал жалобы на работников местных органов, находил поводы и писал. У должностных лиц из-за него даже бывали неприятности. Однажды, кажется, кто-то из них даже лишился своего поста. Это его совсем окрылило и... погубило. Он написал обстоятельную докладную записку в Москву, что все работники суда, прокуратуры и милиции Рос-

товской области — жулики, взяточники и проходимцы. Это уже было клеветническим обобщением и не могло остаться безнаказанным. Арестовывать его явился сам городской прокурор.

— Ну, писатель, дописался! — торжествуя, объявил он. — Теперь собирайся, поехали! Там писать будешь...

Слова прокурора — конечно, против его ожидания — сбылись. «Гусь лапчатый» и в Крещенке не прекратил своей деятельности. Вел обширную переписку с различными инстанциями. И даже заставил сельсовет вернуть ему пятнадцать рублей, на которые был оштрафован за отказ от прививки — в результате долгой переписки доказал, что прививка эта ему противопоказана. Ушло на эту борьбу немногим меньше, чем ему вернули. Кто-то спросил у него, почему он не бросает это бессмысленное занятие.

— А чем мне еще заниматься? — ответил «лапчатый». — Так хоть я письма пишу, жду ответа...

Видимо, у него эта страсть развилась от одиночества. Думаю, что писал он в основном правду, но вряд ли он всегда разбирался в том, о чем писал. Но ведь трудящихся со всех амвонов призывали проявлять общественную активность и сигнализировать. Конечно, призывали больше во времена его молодости, но и потом тоже. Так что в принципе он отзывался на призыв партии. Но что бы он ни писал, на его письма при любом строе можно было реагировать или не реагировать, но сажать за письма «на высочайшее имя» пожилого, не совсем здорового человека (а хоть бы он был здоровый!) могло только сумасшедшее сталинское государство. Но в нем мы и жили.

Последняя история связана не столько с Аликом, сколько вообще со ссыльными. Продолжу эту тему. И поскольку речь зашла о друзьях, я хочу рассказать еще об одном друге — о Паше Цветкове. Я никогда не видел его после ссылки и не знаю, как сложилась его жизнь потом, но в душе всегда хранил и храню светлую и благодарную память о нем.

Встретился я с ним впервые на пересылке — то ли только в Новосибирске, то ли еще в Свердловске. Но помню, что он мне сразу понравился. Улыбчивый, доброжелательный, с добрым, умеющим расслабляться и сосредотачиваться лицом, одновременно и скромный и уверенный в себе, аккуратный, собранный — это был тип культурного

ленинградского\* квалифицированного рабочего, кем он и был до ареста и каким я себе этот тип тогда представлял. Сел он в 1937 году, когда он, несмотря на молодость, был уже квалифицированным слесарем. А он был молод — ему, по-моему, и в момент нашей встречи не было тридцати — общались мы как ровесники. Я начисто забыл, что ему вменяли. Не то что-то кому-то нечто вольное сказал, не то кто-то что-то такое про него выдумал. Тогдашний «ширпотреб», потому и не запомнилось.

Человеком он был надежным и, естественно, порядочным. Он нам вполне доверял, как и мы ему, но особого интереса к политике этот «политзаклоченный» и теперь не проявлял. Конечно, наша судьба говорила сама за себя, он это, естественно, понимал. И когда другие говорили, слушал и вообще участвовал в разговоре, но заикливаться на этом не хотел. Не видел смысла — что зря себя растравлять... У него были не только золотые руки, но и несомненная хозяйственная жилка. Он быстро продвинулся по службе, стал завхозом больницы — должность по чумаковским масштабам, особенно для ссыльного, почти номенклатурная. И был он всегда надежным товарищем. К нему вполне можно отнести оруджавские слова о Леньке Королеве — что «если другу / станет худо и вообще не повезет, /он протянет ему свою царственную руку, / свою верную руку и спасет». Только что не царственную, а просто руку — в тех условиях было не до царственных жестов, вообще не до жестов. Важны были только поступки.

Поступки бывали. Касались они самых будничных дел, и я их не запомнил. Только один запомнил. Относится он ко временам, когда мы строили дом. Дом был саманный. Подходила осень и необходимость прикрыть построенное крышей. Но если до сих пор все обходилось без нужды в продукции нашей тяжелой индустрии, то теперь все уперлось в нее — понадобились гвозди, а их хоть убей не было. Во всей округе. По-моему, даже в Новосибирске. А еще немного, пойдут дожди, и — капут. И тогда Паша «протянул свою царственную руку». Он в это время жил в деревне Зоново, километрах в тридцати от Чумакова (откуда и пошли Зоновы), где работал завхозом на строительсте тамошнего масло-

\* Повторяю, я употребляю здесь тогдашние названия «Ленинград» и «Свердловск» только потому, что они деталь тогдашнего восприятия. Мне вовсе не хотелось бы их вернуть.

завода. Оно, конечно, и на строительстве гвоздей не было, но они их производили сами — кузнечным, практически ручным способом, выковывали каждый гвоздь отдельно. Сколько он стоил — пусть подсчитывают экономисты. Но это цена планового хозяйства. И вот рюкзак этих гвоздей насыпал мне Паша. Сказать, что это было рискованно — значит ничего не сказать. О том, чего стоила эта эпопея мне, я расскажу в своем месте, а сейчас — разговор о Паше. Познакомился я и с его отцом — он приезжал из Питера навестить сына, повидаться после долгой разлуки. Такой же ладный и серьезный, та же кровь.

— Это вы правильно делаете, — сказал он, — так и держитесь друг за дружку.

Мы и держались.

Но это был разговор о друзьях. А ссыльных было много, и самых разных, я просто не всех уже знал. Этапы приходили один за другим. Теперь сплюшь политические. Но некоторые были очень примечательны. Особенно ярок был украинский националист, «галичанин» Филипп Кук. Настоящий националист, хотя тоже посаженный, кажется, ни за что. То есть за принадлежность к националистической семье. Брат его был осужден на казнь еще довоенным польским судом — видимо (я так и не уточнил), за работу на немцев в надежде на освобождение Украины. Во всяком случае, в своей речи на суде он предрекал, что все его судьи скоро отсюда побегут со всех ног.

До него я встретил только одного ссыльного украинца галичанина, крестьянина. Однажды мы с ним оказались недолгими попутчиками на лесной дороге, и он, обрадованный встречей с человеком, говорящим по-украински, пустился в откровенности, всю дорогу радостно рассказывал. Выслали его, видимо, за то, что он жил «биля лису» (возле леса) и поневоле, под страхом смерти, помогал то бандеровцам, то советским. Вероятно, бандеровцам он сочувствовал больше, но, измученный вечным страхом, давно забыл об этом и был счастлив, когда его выслали. Еще бы, это спасло его от неминуемой смерти. Но это сейчас его интересовало меньше всего. Всю дорогу радостно рассказывал, как он пользуется открывшимися здесь возможностями легко жениться, разводиться и снова жениться, о которых он дома, где тогда еще нравы были строгими, и

мечтать не мог. И не то чтоб он считал эти нравы неправильными, он просто радовался отсутствию этой строгости здесь.

Мысль о том, что все это — результат страшного несчастья, не то чтобы ему была непонятна, но просто была ему неинтересна. Ему это было удобно и приятно. Это вырвалась на волю свинья. У него дома, на западе Украины, традиционный уклад тогда еще был силен, а тут все, что нельзя, стало можно. Если бы этот мужик был из-под Полтавы, он не испытал бы такого перепада давлений и — при любых нравственных качествах — так бы не радовался, ибо дома у него все выглядело бы примерно так же. А этому все было в диковинку.

Но ни национальное, ни региональное объяснения тут не годятся. Люди, уступающие соблазнам, есть во всех регионах и нациях. Потом мне приходилось видеть галичан, побывавших в ссылке, таких песен никто не пел. Но этот, видимо, устоять перед соблазном не мог. Дома (на воле) эту свинью, сидящую в нем, держали в узде и заставляли его быть человеком, здесь (в неволе) свинья освободилась и торжествовала. Освободители человечества, приступая к выполнению своей столь увлекательной и соблазнительной миссии, всегда должны опасаться освободить свинью. Чем и славен наш сокрушительный век.

Филипп Кук был человек иного склада, уровня и калибра. Мои отношения с ним поначалу складывались не совсем гармонично. И ничего удивительного, ибо познакомились мы с ним, когда я еще держался за Сталина. Некоторое время он сохранял недоверие ко мне и после этого, но через Б.Г. и Алика недоверие растаяло. Национализм, точнее, жгучий интерес к национальным проблемам, сидел в нем глубоко. Это он обратил мое внимание на украинское происхождение некоторых местных сибирских фамилий (с окончанием на «ков»). Но интересовали его не только украинцы. Он не раз обращал мое внимание на проявление советского государственного антисемитизма, даже на завуалированные его формы (в частности, он увидел это в кинофильме «Сказание о земле Сибирской»). Его это даже радовало — конечно, не само по себе, он был чужд антисемитизма, — а как признак разложения ненавистных ему идеологии и строя. Думаю, что в своей ненависти к строю он даже несколько обрусел.

При всем своем национализме никакого пренебрежения к местным жителям он не испытывал, простотой их не пользовался и явно им сочувствовал. Помогал им чем мог. А иногда он мог — ибо работал завхозом разросшегося к тому времени райпромкомбината. Но должность свою он использовал и для того, чтобы вредить ненавистному ему строю — тоже чем мог. Но тут его возможности были ограничены и в основном сводились к моральным победам. Помогал и вредил он одним и тем же способом — помогал воровать. При этом сам он был абсолютно честен и порядочен. Людям (безусловно, и товарищам-ссыльным) он помогал — чтобы им помочь, ибо иначе выкрутиться было невозможно (как нам с гвоздями — хоть нам помог не он, а Паша), а начальству — для собственного удовольствия. Он испытывал мстительную радость, видя разложение правящего слоя ненавистной ему системы. Поэтому и те и другие считали его хорошим человеком, каковым он и был.

Кстати, сегодня я не очень уверен, что его моральное торжество над воруящим начальством было вполне оправданным, ибо, как уже говорилось, придерживаюсь мнения, что «все мы — товарищи по несчастью». Но его отношение к простым людям отличалось трогательной уважительностью и стало для меня уроком естественного демократизма. Какого у нас не было не только у начальства, но и у интеллигенции (впервые появилось у Твардовского и в «деревенской прозе»).

Все-таки какие-то черты подпольщика у Филиппа были. Он откуда-то всегда знал, что происходит в МГБ. Я никогда не интересовался, откуда эти сведения, но они подтверждались. Правда, ничего особенного там при нас не происходило. За исключением трех вышеупомянутых арестов, о двух из которых и знать особенно не надо было. После Шуркиных частушек и выступления Лидиной сожительницы их арест был для всех предрешен. Тайной остаются только причины ареста Тица. С этим грустным событием связан смешной эпизод. Нашей приятельнице из Крещенки понадобилось зачем-то к начальнику. Она вошла во двор МГБ (вход был через двор) и, увидев там работника МГБ дядю Васю, возившегося с лошадьми, спросила:

— Начальник у себя?

— У себя, — ответил работник МГБ, — только ты не ходи. Они сейчас заняты — секретный арест готовят.

Но вряд ли Филипп Кук знал наперед об этом аресте. Он был для всех неожиданным — я даже подозреваю, что инициатива была не местной.

Помог Филипп однажды и нам. Во время строительства дома и после него Алик работал в райпромкомбинате. Нам некуда было девать книги, и он, будучи учеником замечательного мастера, немца Нидера, сколотил для нас под его руководством этажерку. Встал вопрос о том, как ее вынести. В принципе люди и не то выносили, но все-таки риск. Обратились к Куку. Филипп сказал:

— Сделаем так. Я тебе выпишу на нее накладную. Если попадешься, скажешь, что у меня есть накладная. А если пронесешь — я ее порву.

Все обошлось, и накладная была порвана. Думаю, что так Филипп помогал не только нам. Но отношения наши не были прагматическими. Сохранились они и после ссылки. Однажды, году в 1971-м, незадолго до моей эмиграции, мы даже встретились в Москве.

Хочется еще рассказать об агрономе Желязко, болгарине из Бессарабии. Милый, добропорядочный, интеллигентный человек, он и здесь, в ссылке, работал агрономом где-то на периферии и иногда, приезжая по делам в район, останавливался у нас. История его такова. Во время революции он жил в Одессе. Жить было очень тяжело, а семья его оставалась в Бессарабии, граница с которой тогда отнюдь еще не была на замке и, наоборот, почти не охранялась. Поэтому однажды зимой двадцатого или двадцать первого года, перейдя по льду лиман, он ушел в Бессарабию. Политикой он не интересовался, но в принципе, как и многие бессарабцы, сочувствовал тому, что происходило в России. Думаю, что больше по ностальгическим причинам. И когда произошло воссоединение с Бессарабией (отторжения которой СССР никогда не признавал), он встретил советские войска восторженно и сразу изъявил желание сотрудничать.

Это его и погубило. Ведь сотрудничество требовало заполнения анкеты, а он привык говорить и писать о себе правду. Тем более что причины, по которым он решил когда-то перейти границу, были явно частными, и ни о какой враждебности к советской власти они не свидетельствовали. Его ошибка была в том, что он писал людям, а те, кто читал анкеты, были не совсем людьми и человеческих мотивов поведения не понимали и не признавали. Тем



более в момент проведения «операции по очищению присоединенной территории от враждебных элементов» — когда нужно проявлять рвение и повышать производительность труда. А тут такая зацепка, как «незаконный переход советской границы». Вот и получил он лет семь-восемь лагерей. И ссылку после них. Слишком жестокое наказание за нормальное человеческое доверие к людям, в условиях сталинщины — за наивность.

Как видит читатель, все эти люди, как они ни разнятся между собой, — «политики», «пятьдесят восьмая». Но я уже говорил, что все этапы после нашего были политическими. Отдельные уголовники, попадавшие в этих этапах, были редкостью. Паша рассказывал, как однажды при разборе рабсилы завербовал к себе на строительство кирпичного мастера. Посадил его на телегу и собрался везти. Только тронулся, как из клуба, куда обычно и завозили этапы, вышел один «свой в доску» и проводил отъезжающего презрительным возгласом:

— Мужик! Что, нахать поехал?

«Пахать» — то есть вообще работать — было для него делом самым глупым и недостойным, знаком падения. «Ну-ну, — подумал Паша, — посмотрим, как ты тут потом, зимой запоешь?» Как ни странно, мы все еще верили здравому смыслу и трудовой этике. Тогда.

Не овладевает ли постепенно в силу многих причин эта идея «своего в доску», то есть отношение к труду этого урки, массама и не становится ли она таким образом материальной силой, губящей Россию? Впрочем, тогда такие обобщения в голову не приходили.

Да и не с чего было. Такие «свои в доску» во всех, кроме первого этапа, повторяю, погоды не делали. Осознание этого факта местным населением (о впечатлении, которое оставил по себе здесь первый, урочий этап, я уже упоминал) одна баба проявила так. Стоя на людном месте, возле ушковского сельмага, она по случаю прибытия очередного этапа орала своим подругам:

— Бабоньки! Вы энтих, которых сейчас пригнали, не бойтесь!.. Берите их в квартиранты!.. Это не бандиты... Это хорошие люди — китриционеры!

За этот крик она безусловно «подлежала». Называть контрреволюционеров хорошими людьми было нельзя (вспомните «политика» Ваню Смородина). Но никакому случив-

шешуся тут стукачу, разве если бы он был из ссыльных, не пришло бы в голову доносить на это ее обращение. Не из порядочности даже, а просто потому, что политическая сторона этой информации была всем, как и ей, непонятна и безразлична, а важна была для всех информация фактическая — что эти приехавшие люди в обычном и единственно важном для них смысле — порядочные. А значит, можно их безбоязненно пускать на квартиры — не обчистят. Правда, и это было в обход обязательной (хотя и несуществующей) идеологии. Но ведь все, что они видели вокруг себя, тоже шло в обход.

Вообще естественное непонимание того, что можно и чего нельзя говорить, — об этом уже шла речь — не переставало меня удивлять. Ярко проявлялось оно и в связи со ссыльными.

Одна из местных колхозниц до войны, когда это было в моде, была объявлена знатной дояркой, ее, кажется, даже наградили орденом и «приняли» в партию. Она, естественно, ничего для этого не сделала, просто работала. «Потом пришла война, разруха», она потеряла на войне мужа, и за этим всем о своей и с самого начала не очень нужной и понятной ей «знатности» и «партийности», как и все вокруг, забыла. Райком тоже не часто вспоминал об этой своей «рядовой», в прошлом даже и передовой коммунистке. Но вот появились ссыльные, и знатная доярка вышла замуж за своего квартиранта, дядю Ваню Кайдыка, о котором речь впереди. И тут райком о ней вспомнил. Ей велено было, имея при себе партбилет, явиться на прием к первому секретарю. Ну что ж, зовут — надо идти. Она достала из комода, где у нее аккуратно хранились на всякий случай все ненужные бумаги, партбилет, и «явилась».

Секретарь райкома Шейкин начал свою речь как положено — в привычном разносном тоне. Он объяснил ей, что она вышла замуж за политически недостойного человека, и указал на недопустимость для коммуниста такой беспринципности. В конце концов он прямо пригрозил ей, что она «положит партбилет» — угроза, сильно озадачивавшая пьяниц-председателей и даже редких трезвенников, если они оказывались «срывщиками хлебосдачи». Но на эту бабу угроза не произвела ни малейшего впечатления. Она внимательно и уважительно вслушивалась в слова Шейкина и долго не могла взять в толк, чего от нее хотят. Она ничего

не знала о правах человека или о недопустимости вмешательства в его частную жизнь. Она просто долго не могла понять, за что на нее гневается столь большой и уважаемый начальник. Но наконец поняла, хотя и не очень поверила своим ушам.

— Так вы что? Хотите, чтоб я мужика на эту бумажку променяла? — спросила она удивленно. И уяснив, что это так и есть, с готовностью протянула Шейкину партбилет: — Берите!

Это никак не было актом политического протеста. Просто она не имела к партбилету никакого отношения. Тогда почему-то ей его всучили, теперь почему-то отбирают — их дело, а мужик-то при чем! Мужик — дело серьезное. Я с этой женщиной не был знаком, никогда ее не видел. Знаю только, что потом дядя Ваня от нее ушел. Почему и кто прав — мне неизвестно. Но думаю, что если она после этого тосковала и жалела о чем-либо, то уж никак не об «этой бумажке», не о том, что пожертвовала из-за неудачного замужества партбилетом. Это не было для нее жертвой — просто лежала ненужная бумага среди других таких же, а теперь не лежит. Вот с мужиком не вышло — это худо.

Да не заподозрят меня в том, что я при всей доброжелательности воспринимаю ее простодушие хоть в каком-то смысле высокомерно или иронически — так сказать, со своих «интеллектуальных высот». Как бы не так! Она была явно не шибко грамотна, но она сохранила естественное отношение к окружающему, и как ее ни вовлекали, не отнеслась всерьез, не восприняла душой бессмысленные атрибуты торжествующего небытия. Ни Шейкин, ни я до этого тогда не доросли. В ту эпоху неграмотность иногда спасала душу. Должен сказать несколько слов и в пользу Шейкина. Он ведь вполне мог дать этому делу ход — «покатить бочку», если не на нее, то на дядю Ваню Кайдыка и его разлагающую работу. Не покатило. Чувства юмора, вероятно, хватило. И на том спасибо — его хватало не у всех в те смешные и кровавые времена.

Кстати, о некоторой внутренней свободе чумаковцев говорит и их отношение к выборам. Нет, они не бойкотировали их, Боже сохрани. Как раз наоборот — относились как к празднику. Как же, событие, в клубе пряники продают, да и выпить по этому поводу не грех — «всемирный праздник»! И единственное, что на выборах не интересовало

этих присяжных избирателей, это сами выборы — куда и кого выбирают — в Верховный Совет СССР, РСФСР, в местные Советы или вообще в народные судьи. Отличались выборы одни от других только сопутствующими бытовыми подробностями:

— Да нет, не о том говоришь! Это было не на те выборы, а на другие. Когда Федька с Колькой надрались и стекла в клубу побили... Помнишь? То-то... А ты говоришь!..

Меня это удивляло — неужто так трудно запомнить, что за выборы? А теперь мне это, скорее, нравится. Ведь все эти выборы не имели для них (и вообще для людей) никакого смысла, исход их не только был предопределен, но и не имел ни для кого никакого значения — так зачем забивать себе голову их отличиями? Отличались друг от друга не выборы, а связанные с ними праздничные дни — их и запоминали. Праздников-то было тогда мало.

Но это были местные жители — не политики. А мы, ссыльные, считались политиками, хотя в массе ими тоже не были. Такие идеологи, как Цанкер или полковой комиссар Усвятцев, о котором я уже рассказывал в другой связи (это он сказал, что бывают времена, когда честные люди только мешают делу), или аз многогрешный, были среди этих «политиков» исключениями. Но все остальные тоже понимали, что их судьба связана с политикой. И что кому-кому, а уж им следует держать ухо востро, а язык за зубами. Впрочем, и тут случалось разное.

С одним из этапов прибыл странный человек, москвич, не лагерник и, как я, с очень маленьким сроком ссылки. Как раненый фронтовик, он вскоре и здесь стал получать свою пенсию — для местных условий немаленькую.

История его была такова. Несколько лет он служил в кремлевской охране и знал систему управления светофорами на «правительственной трассе» (на Арбате) — другими словами, знал, за какими невинными ящичками спрятаны рубильники, каждый из которых при включении экстренно перекрывал движение по всей трассе. Но после фронта или до него он оттуда уволился или был уволен (скорее всего, за пьянство) — во всяком случае, давно там не работал. Но в один прекрасный день его с пьяных глаз занесло на Арбат. И увидев знакомый ящичек, он подошел к нему, открыл дверцу, включил рубильник и перекрыв все движение на Арбате. Поднялся страшный переполох. Что

случилось? Почему перекрыто движение? Для теракта? Но ведь Вождя на трассе нет. Кто ж это сделал? Где? Мгновенно обежали все рубильники, нашли выключенный и возле него нашего героя — он и не собирался куда-либо убежать — стоял, опершись рукой о чудесный ящик.

— Ты включил рубильник?

— Я, — ответил наш герой, демонстрируя свою компетентность.

Естественно, его тут же арестовали. Поначалу начальники дрожали. Кто и каким образом мог проникнуть в тайны правительственной сигнализации? За такие упущения по головке не гладили. Но когда выяснилось, что никто никуда не проник, а виновник торжества свой, только выпивши, — успокоились. А самого героя, дабы больше такое не повторялось, решили сослать подальше.

— Поедешь в Сибирь, — сказал ему кто-то из успокоившихся начальников и добавил: — Там, в тайге, включишь рубильник — все медведи останутся.

Но в тайгу наш герой не торопился. Он интенсивно пропивал свою пенсию и собирался... в Москву. Да, он собирался в побег, о чем оповещал всех и вся на каждом шагу. В том числе и на базаре, покупая продукты на дорогу. Никто эту болтовню всерьез не принимал. Но в один прекрасный день он исчез. В управление МГБ стали вызывать ссыльных — что они об этом знают?

Вызвали и Б.Г. Она работала машинисткой на собственной машинке, присланной сестрой. Потом, по приказу МГБ — не в связи с этой историей, а просто в очередную кампанию по повышению бдительности — ее уволили, а машинку заставили продать. Дабы исключить использование этого множительного аппарата для антисоветской пропаганды. Но это потом, и вряд ли это была местная инициатива. Но тогда, в переполохе, они как бы между делом интересовались: не напечатала ли она ему на машинке какой-либо документ? Делалось это для проформы. Документ беглецу нужен был только один — паспорт, а паспортных бланков в распоряжении Б.Г. быть не могло. Да и заполняются они не на машинке, а от руки. Не было в ее распоряжении и никаких штампов и печатей, без которых документов не бывает. И вообще никто не обвинял ее в изготовлении фальшивых документов. Кроме всего прочего, у нее просто не было потребной квалификации для этого. Да и не был беглец

таким предусмотрительным человеком, чтоб запастись документами — те, кто столь предусмотрительны, не кричат о своих намерениях на базаре. Все это, наверное, было понятно и «сотрудникам», но надо было реагировать на побег. Б.Г. в ответ на вопросы разразилась филиппикой:

— Как же это так, гражданин начальник! Спрашиваете, слышала ли я о его намерениях. А кто о них не слышал? Он ведь везде о них трубил. Удивительно, что вы не знали!

Начальник, конечно, об этих его обещаниях знал. Но, как и все, кто их слышал, не принимал их всерьез. Менять неизвестно на что относительную свободу, да еще при достаточной пенсии, обеспечивающей безбедное существование, — это было невообразимо. Ведь не какой-то же это был бунтовщик, фанатический борец за что-то, а спившийся охранник Сталина. Скорее всего, его быстро поймали — не представляю, как могло бы быть иначе. Впрочем, кто его знает. Ведь он мог совершить и что-то настолько дурацкое, что и МГБ бы запуталось. Мог он и к уголовникам пристать. Все могло быть.

Странно, что разговор о трагических обстоятельствах нашей истории вдруг прерывается такой интермедией. Что делать! Эти обстоятельства нередко захватывали и таких индивидов — и тоже не по их воле. И не их вина, что они несли сквозь эти страшные обстоятельства свой монолог, часто не очень осмысленный и внятный. Впрочем, разве менее осмысленный и внятный, чем все остальное? Чем та же многолетняя ссылка за мелкое и отнюдь не злостное хулиганство?

Но за спиной большинства ссыльных, как здесь уже не раз отмечалось, не было даже и такого проступка. Уже упоминавшийся здесь инженер Григорий Григорьевич Головин сидел, по-видимому, за то, что он — Головин. В те времена, когда его посадили, его фамилия еще сама по себе звучала почти как криминал. И хотя за это время она стала уже звучать почти почетно, — как-никак потомок адмирала-патриота! — выпускать Григория Григорьевича, даже когда он отмотал весь свой срок «от звонка до звонка», никто и не думал. Как знает читатель, он, наоборот, получил в довесок ссылку «до особого распоряжения», которое не замедлило обернуться бессрочной «вечной ссылкой».

Был в чумаковской ссылке еще один дворянин, Николай Васильевич Радко, по профессии оркестровый музы-

кант, «лабух» — это слово я впервые услышал от него. Помоему, он был доставлен сюда не из лагеря, а, как и я, из Москвы, где жил, был арестован и приговорен к ссылке. Какую чепуху ему вменили, не помню — политикой он не только не занимался, но и не шибко интересовался. Если он и побывал в лагере, то по тем временам довольно давно, лет десять назад. Он был потомком генерала русской службы Радко-Дмитриева, легендарного освободителя Болгарии. В том и был бред поздней сталинщины — генерала уже славили, а потомка за родство с ним — преследовали. Ибо если вцепились — не выпускали.

У меня даже строки такие были, никуда не вошедшие, пришедшие в голову не в связи с ним, но относящиеся и к нему:

Первый раз осудили ни за что ни про что,  
А второй раз за то, что он был осужден.

Впрочем, сталинская система отличалась великолепным, чисто урочьим даром имитации. Вдруг ни с того ни с сего кого-нибудь освобождали. Это должно было создать впечатление, что кто-то там наверху бдит, беспокоится и, если обнаруживается, что человек сидит зря, исправляет эту несправедливость. Не знаю, действовала ли эта косметика раньше, но в мое время впечатления она не производила — даже на тех, кто благодаря ей получал свободу. В нашем районе, кроме поляка Лендэка, к этому не относившегося (его ведь вообще не столько освободили, сколько передали «народной Польше»), при мне освободили еще одного человека, на этот раз гражданина СССР. Это был молодой парень с немецкой фамилией, но, может быть, и не немец. Впрочем, фамилию его я тоже забыл, звали его, кажется, тоже Леня. Взят он был в ежовщину, в Мурманске, лет 10—12 назад, отсидел весь свой червонец и часть «вечной ссылки», но вдруг был признан полностью невиновным. Я его встретил, когда он уже оформил документы о реабилитации и по дороге рассматривал их. Конечно, он был счастлив, но умилен вовсе не был.

— Вот смотри — невиновен. А десять лет забрали. За что? И кому я помешал? Если б я еще жил в Крыму, а то — Мурманск, Север...

Он сидел достаточно долго, чтобы понимать, что остальные не более виновны, чем он. И то, что освободили

его, а не, допустим, Ваню Смородина или Володю Вильневшица, — случайность, гэбистская рулетка. Остальные — все, кого я знал, — радовались, что товарищу повезло, но отнюдь не торжеству справедливости. Не могли ж они про себя думать, что в чем-то более виновны. Не действовало ничего. Даже принадлежность к семье доблестного героя и освободителя Болгарии, атрибута русской воинской славы, которая тогда на все лады воспевалась.

Вот и сидел Николай Васильевич в ссылке. У него была одна странность: он знал и любил всякое женское рукоделие — шитье, вышивание, готовку, стирку, — на какой-либо основе завязывал тесные, но не романтические отношения со многими деревенскими бабами и ссыльными дамами. Ибо, в отличие от них, он был в этом деле виртуоз. К нам он приходил как к своим — отвести душу. Из его общих высказываний я помню только соображение о том, что советская власть, когда ей что-то нужно было по-настоящему, плевала на все свои «классовые» предрассудки и обращалась к тем, кто знает дело. За этим вставала казавшаяся мне тогда анахронизмом обида человека, которому надо было преодолевать преграды, выставляемые в свои «первые романтические годы» советской властью перед лишенцами. Анахронизмом мне это казалось только в результате возрастной аберрации — кончилось это максимум лет тринадцать-четырнадцать назад, и для него это было достаточно живо.

В деревне Николай Васильевич был немногим более уместен, чем я (у меня не было и такого применения), но все же как-то уместней. С другой стороны, он еще более выделялся на общем фоне. Высокий, интеллигентный, с острым и плоским носом и, главное, черноволосый, он бросался в глаза. Вся деревня, включая многих ссыльных, не сомневалась в том, что он еврей. Насчет меня, Б.Г. и других сомневались, иногда не знали, а насчет него — и тени сомнения не было. Враждебности не было, а уверенность была. Особенно она окрепла, когда начальство для порядка, чтоб не болтался, заставило его трудоустроиться и, поскольку не было ничего лучшего, направило его через райпотребсоюз торговать в клубном ларьке. Тут уж если у кого и были сомнения — отпали. Однажды я был свидетелем такой уличной сцены.



Темным вечером на улице встречаются два приятеля.

— Мишка, ты где водку брал? — озабоченно спрашивает один.

— Да у еврея, мать его перемать! — отвечает с досадой Мишка. — Больше нигде.

— Вот тудыть-растудыть! — разделяет Мишкину досаду встречный. — Куда денешься!

Меньше всего их сейчас интересует Николай Васильевич, его «еврейство», еврейский вопрос и еврейский народ в целом. Причина их досады в том, что магазины уже закрыты, торгует только клубный ларек «еврея», а в ларьках — наценка. И ругают они вовсе не «еврея», а самих себя — за то, что вовремя не позаботились, теперь приходится переплачивать. Вот смысл этого обмена междометиями. Но из него же видно, что национальная идентичность Николая Васильевича для обоих, как и для всей деревни, несомненна.

Об этом должны помнить мечтающие о еврейских погромах — как бы самих не пришили.

Но тогда дело шло не к погрому, а, скорее, к Освенциму, о чем тоже пока никто не знал. И откуда было знать? Правда, смерч борьбы с безродными космополитами уже пронесся над главными городами страны. И слегка задел деревенский актив. Даже здесь, в Чумакове, секретарь райкома Шейкин собирал по этому поводу местную интеллигенцию — разъяснить, чтобы не путали, что скрывается за этим диковинным словом. И разъяснил, как мне говорили, вполне доходчиво. Заостряя внимание на еврейских злодействах. Местная интеллигенция, возможно, и возмущалась, но, в общем, ей было не до театральных критиков и литературных взаимоотношений. Да и не до евреев тоже. Конечно, где-то там, на Лубянке и в Суханове, уже раскручивали дело ЕАК, готовился «процесс врачей». Но хотя события эти назревали, хотя «сионисты» постепенно становились жупелом, нашей колхозно-ссылочной местности не достигали тогда даже слухи об этом.

Кстати, в Чумакове среди ссыльных был один настоящий сионист, доктор Перпер — во всяком случае, он сам себя считал таковым. Тогда этому термину не был еще высочайше придан мистический, точнее, inferнальный ореол. Сионизм не был именем дьявола, а был названием общественного движения, ставящего себе задачей воссоздание еврейского национального очага в Палестине. Он, ко-

нечно, в СССР преследовался, как и всякое другое национальное движение, но не больше. Термин тогда еще употреблялся только в его прямом значении.

Взяли доктора, как и агронома Желязко, в Бессарабии после ее «освобождения» в 1940 году. И, скорее всего, не за сионизм, а в порядке той же общей чистки от буржуазных и враждебных элементов (чистка эта проводилась НКВД не только в Бессарабии, во всех присоединяемых областях и странах). Короче, арестовали его только за то, что он был видным человеком в своем городке.

Впрочем, разрушение естественно сложившихся иерархий — не сталинское изобретение. Это продельвали — иногда очень виртуозно, с творческой выдумкой — еще и «честные ленинцы»\*. Интуитивной целью таких мероприятий было превращение населения в аморфную массу, которой можно было придать любую форму. В том числе и идеально-го «нового человека». Сталина никакие «идеальности» не волновали, но волновало удобство управления, и он это очищение от скверны индустриализировал — поэтому, в какой бы местности мы ни оказывались, мы первым делом и сразу снимали там весь верхний слой. Кстати, в нашем районе среди ссыльных было много представителей «солнечной Молдавии» — молдаван, евреев, украинцев и болгар, отобранных по тому же признаку. Причем интеллигентом из них, кроме доктора, был только уже упоминавшийся агроном Желязко.

Был еще, может, не в прямом смысле интеллигент, но очень милый, работающий, порядочный, неизменно вежливый украинец из Кишинева Майборода, которого вслед за китайцем Колей все называли просто Борода (у него действительно была небольшая, но окладистая бородка). У меня с ним были отношения не близкие, но теплые. Часто — это когда я потом работал с ним на пилораме — он перед по-

---

\* Николай Адамов, покойный муж тоже уже покойной Ольги Львовны Адамовой-Слиозберг, с которой меня связывала многолетняя дружба, герой Гражданской войны и упрямый троцкист, много за это сидевший, рассказывал, как он и другие хитроумные ребята-комсомольцы «обезвредили» популярного сельского священника. Мужики откуда-то прознали об этой акции и выставили охрану — в случае чего ударили бы в набат. Но «ребята» инсценировали нападение на менее популярного священнослужителя и, когда мужики бросились на его защиту, тихо арестовали нужного. Николай Адамов после всех своих лагерей все равно гордился хитроумностью этой «операции».

лучкой одалживал у меня небольшую толику денег и в поллучку всегда аккуратно возвращал. Однажды я поинтересовался, почему его посадили, чем он занимался в Кишиневе.

— Мав ресторант, — коротко ответил он.

«Ого!» — подумал я. Тогда ведь мне, как и большинству советских людей, за словом «ресторан» виделось нечто роскошное и богатое, праздничное, с роскошными люстрами, где люди не просто едят и пьют, но «проводят время». Как это было у нас — даже когда это был «ресторан 3-го разряда». Все равно он наглядно отличался от всех окружающих столовых и закусочных. На Западе (и, видимо, в Румынии) это было не так. Там, конечно, тоже есть роскошные рестораны типа «Волдорф-Астория», но в то же время рестораном может себя назвать и любая закусочная. И, наоборот, фешенебельное парижское заведение «Этуаль», расположенное на знаменитой площади с тем же названием, считается просто кафе. И никто не пугает.

Но какой бы ни был у Майбороды «ресторант» — пусть даже самый роскошный, — почему б ему было его не иметь? Я еще по инерции признавал логику классово-борьбы, но эмоционально этот вопрос себе задавал. И меня не смущал тот факт, что я сочувствую «мелкому (а может, и не мелкому) буржуа». И действительно, как ни отрицай частную собственность и ни признавай экспроприацию, почему было его после нее отрывать от семьи и столько лет мучить лагерем и ссылкой?

Я, конечно, помнил, что эксплуататорские классы имеют тенденцию сопротивляться, а это надо пресекать. Насчет классов все было ясно, но передо мной был не класс, а живой, достойный, порядочный человек Майборода (цену порядочности я, как любой зэк, знал хорошо), которого явно преследовать было не за что. Вероятно, как и многие другие во всех странах, я отговаривался тем, что это (классовую борьбу?) надо делать не так. Решение вопроса о том, можно ли это делать не так и как именно, если не так, в таких случаях обычно откладывается на неопределенный срок. Простой ответ, что этого делать нельзя вообще, ибо в любом случае это выйдет только так, дался мне только лет через восемь-девять. Все простое давалось моему поколению очень трудно.

Но вернемся к доктору Перперу. Сионизма среди нас он не проповедовал. Политические рассказы его больше каса-

лись жизни еврейской общины его городка, ее участия в выборах. Они хотели выставить и своих кандидатов, имели на это право, но румынские власти этому препятствовали. Не официально, а как-то тайно-подметно, точнее, физически. Хватали кандидатов вместе с теми, кто их выдвигал, под любым предлогом, ложность которого «выяснялась» к концу дня, и держали в кутузке несколько часов до истечения срока регистрации.

Однажды, зная об этом, представители общины прибежали в мэрию рано утром, к ее открытию, когда полиция еще не работала, и успели зарегистрировать своего кандидата. Полиция этого не знала, и на обратном пути они были арестованы. Но когда обрадованные собственной ловкостью евреи рассказали капралу, что зря он их задержал, ибо дело уже сделано, тот позвонил в мэрию, проверил эту информацию, и убедившись, что они не врут, признал, что на этот раз состязание проиграл, и спокойно их отпустил.

Конечно, откровенность поведения полиции поражает, но то, что обе стороны знали правила игры и не делали вид, что дело в чем-то другом, — все-таки было нормальной того, что мы видели вокруг. Конечно, нехорошо, что власти кому-то препятствовали в выдвижении кандидатов, но раз они так стараются, следовательно, выборы чего-то стоят. У нас бы не угодный начальству кандидат (если бы такой мог быть выдвинут, что само по себе было фантастикой) даже не был бы вычеркнут, он бы просто незаметно исчез. И хорошо, если только из списка кандидатов. Да и кто стал бы его выдвигать? Зачем?

У доктора Перпера был старший брат, который до революции редактировал «Вегетарианскую газету» (или «Вегетарианские ведомости» — теперь не помню) и поэтому иногда общался с Л.Н.Толстым. После революции он жил в СССР, а не в Бессарабии, но не был арестован. То ли вегетарианцев, в отличие от, допустим, эсперантистов, сочли чужаками неопасными (и даже полезными при нехватке мяса), то ли просто Бог миловал, но НКВД почему-то им не заинтересовался. Так или иначе, он уцелел, и я его видел, когда он приезжал в Чумаково навестить брата. Мягкий человек, интеллигент старинного покроя, чтивший и знавший Толстого, как Библию. Оба они были «из семьи врача», но в самом докторе этой старинной интеллигентности было меньше — то ли в более раннем возрасте ока-

заялся вне этой среды, то ли лагерный опыт накладывает отпечаток. Но все же и доктор образован был не по-нашему. Например, когда его пациентами бывали немецкие спецпереселенцы (а они составляли значительную часть населения), он, принимая их, свободно общался с ними на их родном языке, что для некоторых из них было большим облегчением и вообще повышало его авторитет среди них.

Отношения у него вроде со всеми были ровными и хорошими. Естественно, никакой политикой он не занимался. Тем не менее он чуть не кончил трагически. Это было во время «дела врачей», когда я уже жил в Караганде. Начальник райотдела капитан Кошелев, муж Марины Прокофьевны, начал — по своей ли инициативе, по приказу ли прямому или косвенному — создавать в Чумакове собственное «дело врачей». Естественно, в центре этого заговора в роли местного Вовси должен был выступать доктор Перпер.

Страшная советская коллизия поздней сталинщины. Капитан вовсе не был злым человеком, скорее доброжелательным, чем коварным, а взялся за такое страшное дело — ведь «оформить» его без крайней жестокости, без истязаний было бы невозможно: кто будет без этого возводить на себя такую чудовищную напраслину?

Прельщали ли капитана лавры Рюмина? Или боялся оказаться недостаточно бдительным? В их «профессии» эти два мотива переплетались тесно — не расплеться. Шутка ли, ведь тут дело шло о настоящем сионисте — принадлежность доктора к этой дьявольщине значилась в «Деле», и он этого даже не отрицал! Правда, доктор, давая это показание, не знал о зловещем инфернальном ореоле, который потом по воле Вождя обретет этот обыкновенный термин.

Впрочем, и капитана можно понять. Для него этот термин только в этом инфернальном ореоле и существовал. Сталин вовсе не учил свою политическую полицию разбираться в политике и в политической истории — ее воспитывали на тех же штампах, что и всех остальных. И в том, что сионисты — агенты иностранных разведок и отравляют честных советских людей, капитан не сомневался искренне. А тут явный сионист, и притом в белом халате, у него под носом — и не раскрыт! Проморгаешь такого — по головке не поглядят. Да и перед людьми стыдно — все вокруг раскрывают их сколько надо, а ты, выходит, один — губошлеп.

Правда, капитан не разбирался в медицине. Что ж, он нашел себе квалифицированного консультанта. Им стал доктор Бойко. Этого человека я неплохо знал, он у нас бывал. Высокий, широкоплечий богатырь лет сорока—сорока пяти, родом казак, он попал с семьей в эмиграцию и был арестован в Братиславе, по-видимому, в 1944-м, когда через нее проходили наши войска. Получил он, похоже, пять лет лагерей (за связь с мировой буржуазией?) и в 1949-м, когда кончился срок, как все, получил довесок — ссылку «до особого распоряжения». Так он оказался в Чумакове. Был он веселым человеком, шутником. Рассказывал, как, получив после университета работу, он впервые был приглашен одним из коллег на день рождения. Исходя из этого, он не пообедал — зачем, если зван на именины? — не переждать же. И отправился в гости натошак. А там «угощали» кофе с маленькими тартинками, что этому богатырю было как слону дробина. Вернулся домой голодный, а поскольку все магазины и харчевни были уже закрыты, пришлось голодать до утра. И поэтому, когда настал его день рождения, он им «отомстил» — задал настоящий пир на весь мир, знай наших! Потом гости по одному подходили к нему, благодарили, говорили, как все было замечательно, и неизменно добавляли:

— Но, доктор, ведь это очень дорого!

Он был несколько легкомыслен, бонвиван, но что он может совершить такую подлость, мне в голову прийти не могло. Почему он себя до этого допустил? Идеологические мотивы я исключаю. Конечно, антисемитизм в белой эмиграции был весьма распространен (в виде убеждения, что революцию устроили евреи). Но когда приходили немцы, как правило, русские эмигранты евреев не выдавали, не котировалось это как-то. А тут ведь от него требовалась подтасовка — в лучшем случае, объяснение медицинских ошибок злым умыслом. Конечно, ошибки бывают у всех, могли они быть и у такого опытного врача, как доктор Перпер, но их не могло быть слишком много. В основном речь могла идти о еще более очевидной напраслине.

Чем же можно объяснить участие доктора Бойко в этом грязном деле? Конкурентными чувствами? Думаю, что возможность таким способом конкурировать превышает то, на что способен был доктор Бойко — он прошел через лагерь, но все же не был ко всему привыкшим советским деятелем.

Его заставили сотрудничать угрозами, то есть насильно? Может быть... Не знаю. Если это так, это снимает часть его вины. Но только часть — вина слишком огромна.

Скажу только одно — хорошо, что Сталин издох. Это спасло не только доктора Перпера, но и самого капитана Кошелева (хотя он, наверное, был очень обескуражен тем, что все провалилось и что в Москве, оказывается, все тоже так). А может, даже доктора Бойко спасло. Разумеется, я имею в виду души. Говорят, потом, когда райотдел закрыли, капитан Кошелев работал в Каинске (тогда Куйбышеве) заведующим базой то ли «Заготзерна», то ли «Заготскота». Что ж, эти учреждения тоже звенья советской сети выкачивания, но они в советских условиях имели смысл — без них — в этих условиях — страна не могла бы существовать. К тому же эта служба не вынуждала к обязательной подлой жестокости, как сталинское МГБ.

И опять меня угнетает бессюжетность. Судьбы, размышления, но вокруг чего? Конечно, главный сюжет этой книги — этапы моего пути «к откровенью от лжи». Но здесь, в Чумакове, после резкого отказа от сталинщины, этот сюжет практически не развивается, происходит только глубинная работа, накопление впечатлений и реакций.

Но был же и какой-то внешний сюжет, была же какая-то смена событий? Была. Сейчас, чтобы к этому не возвращаться, изложу ее в нескольких словах. События развивались в смене квартир и смене работ.

Начну со смены квартир. В Ушкове мы с Б.Г. сменили три квартиры. Впрочем, фактически две — в одной из них, на которую мы выехали спешно (свою пришлось уступить Лиде Стасюк, к которой приехали на лето мать с сыном), жили недолго. Хозяйка ее, вдова с ребенком — девятилетней, как мне кажется, девочкой, жила одиноко и замкнуто, но всегда была сдержанной и спокойной. Бросалось в глаза, что и повадка ее, и речь были не совсем деревенскими. Она должна была бы быть учительницей, но в этом случае она бы не могла пустить нас на квартиру — учителя считались работниками идеологического фронта и не имели права столь тесно общаться со ссыльными. Кто она, я так и не понял. К откровенности она расположена не была, но отношения у нас с ней были ровные и спокойные. Съезжали мы от нее только потому, что нашли комнату более удобную и просторную. Больше мне о жизни на квартире у

этой загадочной вдовы вспомнить, к сожалению, нечего. Потому я и вставил воспоминание о ней в беглый перечень. О хозяевах тех квартир, откуда мы к ней переехали и куда от нее съехали, я расскажу более подробно — когда об этом пойдет речь. Сейчас я отмечу только, что, живя на следующей квартире, мы троим — Б.Г., Алик и я — начали строить дом. Но уже не в Ушкове, а на окраинной — Северной улице Чумакова, куда потом и переселились. Здесь застал меня и конец ссылки.

Теперь о смене работ. После Промкомбината я несколько месяцев был безработным. Но порядок требовал моего устройства на работу, и под давлением начальства, да и с его помощью я устроился учеником сапожника в местную артель «Заря». К сожалению, через некоторое время ученичество мое кончилось ничем, и я опять оказался безработным. Других работ для меня не было, а устройству на «физическую работу» мешала грыжа. Мириться с таким положением МГБ не могло. После операции, сделанной по его настоянию, я некоторое время проработал на пилораме в том же промкомбинате (вместе с упоминавшимися здесь Колей-китайцем и Майбородой). Но операция (о ней позже) оказалась неудачной, грыжа вышла снова, и осенью 1950 года, незадолго до истечения официального срока ссылки, мне пришлось уйти с пилорамы.

Больше я нигде не работал. Теперь, поскольку я, выполнив все требования начальства, оказался инвалидом, все взятки с меня были гладки, и начальство больше меня по поводу трудоустройства не беспокоило. МГБ было организацией гнусной, но я бы не хотел, чтобы то, что я рассказываю о своих «трудовых мытарствах», воспринималось как рассказ о травле со стороны местных работников. Нет, это было исполнение формальных требований, в которых они отчитывались. Как бы они отнеслись ко мне во времена «дела врачей» — не знаю (верили и ужасались сообщаемому не только работники МГБ), но от себя они меня не травили. Когда пришло известие о моем освобождении, они (об этом позже) явно за меня обрадовались. Но до освобождения эта проклятая «невозможность меня использовать» угнетала меня самого. Я ведь не был уверен, что меня отпустят, а что бы я делал, если бы вместо расписки о получении справки об освобождении я бы должен был расписаться под уведомлением о «вечной» ссылке? Угроза эта висела.



В смысле сюжета смущает меня еще одно обстоятельство — сроки. Ведь, в сущности, я жил в Чумакове (после возвращения из Кульчи) всего два года и два месяца, а время это казалось мне, да и теперь вспоминается, долгим. Сколько времени я жил на одной квартире, сколько на другой, сколько в «собственном доме»? И когда мы его строили — в сорок девятом или в пятидесятом? Ибо если в пятидесятом, то сколько же я в нем прожил? Ведь в начале января 1951-го я уже освободился. А у меня ощущение, что и в этом доме я жил долго. Так что в каком-то, сугубо локальном смысле мои воспоминания о Чумакове не во времени, а только в пространстве. Честно говоря, я не думаю, что это недостаток. Я и не ставил перед собой задачи расчислить эти два года и два месяца точно по месяцам и неделям. Не так уж важно, когда именно что с кем произошло и когда именно были высказаны или пришли в голову те или иные слова. Важно, что вообще имело место или было высказано — там и в то время в целом. Эти два года и два месяца для меня и для этой книги, для моего рассказа о времени важны в целом. Я рассказываю не об исторических событиях (таковые происходили не в Чумакове), а об исторической эпохе (а она отзывалась и на Чумакове).

На нашу первую ушковскую квартиру Б.Г. переселилась из Чумакова от той нищей телятницы, у которой вся одежда была из дыр. Дом этот (точнее, пятистенок, где нам сдали горницу) был расположен в самом «центре» Ушкова, рядом (отделял только небольшой пустырек) с правлением колхоза. Этот дом в сравнении с предыдущим — поражал достатком. Жила в нем мать с двумя сыновьями. Один из них был постарше — моего возраста, но по-мужицки более взрослый. В деревне вообще быстрее взрослеют (во всяком случае, раньше так было). Однажды, когда мы уже сошлись поближе — а отношения у нас всегда были хорошие, — он (имя его я, к сожалению, забыл) ткнул пальцем в свою верхнюю рубашку и спросил:

— Узнаешь? — и когда я не понял вопроса, добавил: — Твоя. Я у тебя купил, когда ты еще жил в райкомхозе.

Я смотрел во все глаза. Я этого парня не узнал. Помнил, что тогда, в райкомхозе, еще до получения первых денег из дому, я с удивлением согласился на чье-то предложение (именно согласился на предложение — самому бы мне предлагать и в голову не пришло) продать за деньги или кар-

тошку какую-то свою смятую пропотевшую тряпку, бывшую когда-то рубашкой, но кто это был — не запомнил. Теперь на нем была вполне нормальная, почти выходная рубашка — чувствовалось, что она побывала в заботливых и толковых женских руках. Парень и теперь еще был доволен сделкой. А я впервые подумал, как это несправедливо — что даже засаленная измятая «городская» рубашка для деревенского человека — ценность. Ценностью были и дешевые, но праздничные городские леденцы в виде колбасок, которые мне присылали из дому. Здесь конфеты только изредка «давали» (как сахар и муку) — и больше перед праздниками и «на выборы» — да и не такие, а извечные «подушечки». Оно, конечно, в городе живет гегемон, в городе делаются все главные дела страны (что в деревне «делается» сама возможность жизни, мне тогда не казалось главным), но все-таки нехорошо получается.

Помню, как мы с младшим сыном хозяйки, Юрой (с которым я сошелся короче, чем со старшим), однажды вместе подошли к колхозному правлению, у входа в которое стоял в упряжке рысак Марсик. Стоял он спокойно и ждал хозяина, благосклонно, но с достоинством принимая наши поглаживания. Он мне очень понравился, и мне захотелось угостить его сахаром из своих запасов. Я быстро сбегал домой и принес пару кусочков. Юра взял один и попытался вложить его Марсику прямо в зубы. Но тот никогда ничего подобного не пробовал и не знал, что это такое, и разомкнуть зубы упорно отказывался. Вероятно, принимая его за камень. Разомкнул он их только после того, как Юра просветил его через обоняние — вложил этот кусочек сначала в одну ноздрю, потом в другую. И когда после этого он опять поднес его к губам Марсика, конь спокойно разжал зубы, принял сахар и как ни в чем не бывало им захрустел. Второй кусочек он уже принял без уговоров. А сколько мы читали о том, как лошади любят сахар, как благодарны своим хозяевам за такое угощение! К немногочисленным колхозным лошадям это не относилось...

Да и как могло относиться, если и дети видели сахар очень редко. Причем не только потому, что его редко продавали. Ведь даже тот, который завозился на праздники, долго не раскупался — не было денег. И запасались им, как это ни парадоксально, почти одни ссыльные — те из них,

кто получал помощь из дому. А ведь сельские жители тогда еще составляли большинство населения страны.

Семья, сдавшая нам горницу, была семьей специфической. Прежде всего мать этих двух братьев была прекрасной хозяйкой и хорошо готовила. Это не так удивительно для русской деревни, но здешние женщины почти все готовили не очень хорошо. Конечно, сказывалась и бедность. Но это сказывалось только на сибирской кухне — пельменях, шанежках, драниках. Если раньше пельмени, например, были всеобщим ритуалом — ради них хозяйки собирались вместе и наготовливали их на всю зиму (потом выставляли мешки на мороз), — то теперь они стали чем-то вроде предмета роскоши. Если кто еще и был в состоянии заготовливать их впрок, то только для особо торжественных случаев — и муку, и мясо надо было расходовать бережно.

Но это сибирские, так сказать, фирменные блюда. Обо всем остальном — о супах, мясных блюдах, даже щах, они имели, по-видимому, слабое представление. Все это получалось у них, как правило, не очень вкусно. Меня это удивляло. Везде, где я бывал, русские женщины, в том числе и крестьянки, готовили хорошо и вкусно. А тут Сибирь, и такая невзыскательность.

Было ли это результатом некоторой опущенности в связи с разгромом деревни или просто такова была локальная культура приготовления пищи в этой местности — не знаю. Но наша хозяйка сильно выделялась на общем фоне — готовила хорошо и вкусно, и не только местные блюда. Потом выяснилось, что она одно время жила в прислугах у Абрамовичей и научилась у них этой премудрости. Причем вовсе не еврейским блюдам — никаких сладковатых борщей и даже фаршированной рыбы она не готовила, — а самым обычным. Лично я запомнил ее мастерство по яствам чисто крестьянским — как это ни банально, по хлебу и квасу. Ни такого хлеба, ни такого кваса я больше нигде никогда не пробовал. Буханки этого хлеба, высокие, широкие, громадные, обладали при этом невероятной плотностью и питательностью. И были очень вкусны. Практически этот хлеб не черствел. А квас был шипучий, кислый, терпкий и какого-то очень крепкого настоя — ничего общего по вкусу даже с самым крепким квасом, продававшимся на улицах Москвы. Вполне вероятно, что и хлеб, и квас были обыкновенными, крестьянскими, но значит к тому време-

ни это обыкновение кончалось. Но в этом доме оно еще не кончилось.

Семья была дружная. Приходили к ним еще родственники, какая-то бабуся, дочка которой была замужем за чеченцем по имени Мурат. Чеченец был тоже послелагерным ссыльным, но сидел по статье не 58-й, а 593-й — вооруженный бандитизм. Это не означало, что он обязательно принадлежит к уголовному миру (у горцев были свои нормы поведения, не всегда соответствующие общепринятым), но о нраве, крутом и опасном, свидетельствовало. Теща жутко его боялась и со страхом произносила его непривычное ей имя как «Мрак». Он был широк в кости, очень силен и действительно черен. Водку и бражку он, несмотря на мусульманское происхождение, принимал, во всяком случае на семейных празднествах. Однажды после такого праздника он мне так изъяснился в любви:

— Наум, я тэбэ лублу. И знаешь, почему? Потому что ты еврей. Я всех евреев лублу. И знаешь, почему? Потому что их выгнали из своей зэмли и разогнали по всему свэту. Тэпэр мой народ выгнали из своей земли, и он живет вздэ, толко нэ дома. И я лублу евреев.

За такую критику сталинской национальной политики тоже можно было огрести срок. Впрочем, как я уже писал, и в других домах тоже не стеснялись в выражениях. Но все же не мы, не политические ссыльные. А Мурат не был политическим.

Но все это — заурядные для того времени бытовые подробности. А стороной я узнал об этом доме и нечто, поражающее воображение. Дошли до меня сведения — правда, так и оставшиеся не очень подробными и конкретными, — что какие-то члены этой семьи были когда-то связаны с «бандой». Другими словами, с крестьянским восстанием против коллективизации. Об этом восстании я и раньше слышал, но тоже только в общих чертах. Была, дескать, у нас когда-то в крешенском урмане банда. Против колхозов.

Я даже поэму пытался писать, исходя из этого факта. Конечно, не халтурно-героическую, а трагическую, о той же тяжести поступательного хода истории, которая тогда наполняла для меня жизнь смыслом. Написал какие-то куски, но до самой «банды», слава Богу, не дошел. Ибо ничего так и не узнал. Надеялся что-то узнать, но и теперь конкретно не знаю ничего. Что послужило поводом для восста-

ния? Как эта «банда» собиралась? Что делала? Что говорили власти? Как подводились войска? Быстро ли эту «банду» разгромили? Что сделали с ее участниками? Провозили ли их через деревни? Как воспринимало их население? Эти темы не возникали ни в одном разговоре, словно это с самого начала никого не касалось. Как выпало из памяти. Была некая «банда» — и все.

Разумеется, определение «банда» было изобретено не жителями. Оно было ими усвоено из официального словаря тех лет — против «нас», как известно, всегда бывают одни только бандиты, растратчики и сумасшедшие. Поначалу слово «банда» было единственно легальным и неопасным при разговоре на эту тему. Потом к нему привыкли. Привилось. Как прививалось все при советской власти. Как сама она.

Конечно, прикосновенных к «банде» родственников моих хозяев здесь, в округе, уже давно и в помине не было, односельчане о них не вспоминали, у них не было имен, с ними не были связаны никакие сельские истории, они вообще как бы никогда не существовали. Кто-то, правда, мне намекнул: мол, смотри, Наум, люди они особые. Ихние ведь там были... в урмане, в банде. И опять — ни имен, ни деталей.

И хозяйева мои тоже не проявлялись. Только однажды хозяйка, после того как мы вдруг прервали разговор при ее появлении, сказала мне потом:

— Ты что, Наум, думаешь, мы докажем на вас? Ты что? Мы не такие.

И я почувствовал, что и впрямь — не такие. Но откровенничать она и тут не стала. А если б стала, разве я, тогдашний, понял бы ее до конца? Конечно, не донес бы, даже посочувствовал бы по-человечески, но не понял бы ее погребенной под спудом торжествующей повседневности правоты. А как легко носить в душе оклеветанную правоту — это я знаю. И она не пыталась воскресить того, что было погребено в душе. Что было — было, душа хранит боль, но жизнь «ушла вперед», никому ничего не докажешь, и надо жить по нормам этой жизни, как будто того, что было, не было. Вот так у нас бывшее быльем порастало. Зарастало.

Поразительная вещь, как для нас для всех — от профессоров до крестьян, от идейных коммунистов до безыдейных сталинских цекистов — зарастали пустоты, создавае-

мые в живой толще жизни бешеной властью, зарастали за-подлицо, так что и швов видно не было.

Это тотальное выпадение памяти походило на какой-то пассивный заговор. Уже через много лет мне с двумя журналистами пришлось разъезжать по целине, в том числе по землям Сибирского казачьего войска, составлявшим теперь северные районы Северо-Казахстанской и Кустанайской областей. Люди разговаривали с нами охотно, помнили многое, но все, от сидящего на завалинке в синей казачьей фуражке очень старого казака Петровича в станице Пресноредуть до пожилой учительницы из Пресногорьковки (тоже местной уроженки), ничего — ну совершенно ничего! — не помнили о Гражданской войне

Петрович помнил войну Германскую, помнил, как попал в плен в Мазурских болотах, помнил, как решал — «или себя прекратить, или как?» (был слух, что германцы казаков в плен не берут и всячески издеваются над ними). Учительница помнила, как Казачьим обществом в Пресногорьковке была открыта гимназия и как она в ней училась. А вот как дело доходило до событий Гражданской, оба они, да и все остальные, обрывали любой сердечный разговор:

— Не помню. Ничего не помню.

«Не помнили», а внуки уж и впрямь не знали. Вот и верят теперь иногда всякой сволочи.

Так что теперь уже можно сказать, что зарастали эти пустоты только для нас, для наших глаз, а на самом деле они зияли, как медвежьи ямы-западни, чуть прикрытые сучьями. Зияли независимо от нашего согласия смотреть и видеть. И до сих пор еще есть шанс всей стране провалиться в эти пустоты, в эти ямы-западни.

### **Жили были дед и баба**

Но я отвлекся. Речь шла о первой нашей квартире в Ушкове. Потом, как я уже говорил, мы недолго жили у странной (не по характеру, а по социальной принадлежности) вдовы, и наконец, поселились «у дедушки с бабушкой» — так мы их всегда называли в глаза и за глаза. Их дом, тоже очень крепкий, стоял по другую сторону от правления колхоза, слегка по диагонали от него, почти на самом верхнем (по течению Омки) краю деревни.

За ним стоял еще только один дом, где жил с семьей охотник. В тридцать седьмого его, малограмотного человека, арестовали по обвинению в том, что он затаившийся до лучших времен колчаковский офицер. Потом я с ним познакомился ближе. Он мне рассказывал, что сидел среди разных диковинных ученых людей, которые раньше были против царя, а теперь вроде против и этой власти (раз за это сидят). От голода он в тюрьме не страдал — многие в камере получали из дому передачи и отдавали ему свою баланду. Между тем страдал он в тюрьме очень, но страдал в основном от вынужденного безделья. Оно было для него непереносимо. Он, правда, старался за всех «дежурить», то есть убирать по утрам камеру, но времени у него это занимало немного — все остальное время он не знал, куда себя деть. Другие читали книги, вели между собой непонятные ему, но весьма занимавшие их беседы, а он, не представлявший для себя никакой иной жизни, кроме работы — только маялся. Как я уже отмечал, при Ежове его, слава Богу, осудить не успели, и когда пришел Берия, его выпустили. Будь проклято государство, где таких людей сажали и допрашивали как политиков!

Нет, он не был Кренкбилем, жертвой недоразумения, несообразности, человеческой тупости. И жертвой фанатизма тоже не был. Он был жертвой целенаправленного государственно-организующего сумасшествия Иосифа Сталина, скорее всего, выразившегося в бессмысленном людоедстве оперативного приказа Ежова № 00447 и предшествовавших постановлений ЦК ВКП(б), о которых мне уже приходилось писать\*.

А человек он был хоть и малограмотный, но серьезный. Конечно, вернувшись, разобраться в причинах происшедшего с ним он не мог и не пытался, рад был, что вернулся домой и оказался в своем мире. И приступил к делу. Он был опытным охотником-промысловиком. Ходил по округе, расставлял капканы на лис и волков, стрелял белку. Шкурки сдавал в отделение «Союзпушнины», откуда получал порох и всякого рода боеприпасы. Там действовал свой преискурант, особо ценилась, кажется, «белая лиса». Я видел у него шкуру такой лисы, но мне так и не удалось выяснить,

\* О том и другом см. мою статью «Будни тридцать седьмого года» («Континент» № 91).

кто это — просто лиса-альбинос или настоящий белый песец. Похоже, белые песцы в этих широтах не водятся. Рассказывал он и всякие охотничьи истории. Например, о волке, который перегрыз себе попавшую в капкан лапу и при появлении охотника ускакал на трех.

— Теперь ни его, ни его родичей не поймать. Ведь он им сказал: этого, рябого, увидите — бегите со всех ног.

И вот таких людей вырывали из мира, где они были на месте, где они сильны и мудры, и отдавали на расправу неграмотным ошалевшим следователям тридцать седьмого, чтоб те задавали допрашиваемым непонятные им самим вопросы, а потом «оформляли» их в лагеря — на выучку к уркам.

К соседу я относился хорошо, но общался с ним сравнительно редко, и рассказывать мне о нем, кроме истории с его колчаковским офицерством — нечего. Охотничьи истории в основном забылись, а на общие темы он не особо высказывался. Даже не из осторожности — просто он мало в этом понимал, а говорить любил о том, что знает.

Но наши последние квартирные хозяева — дед и бабка были людьми гораздо более словесными, то есть выражающимися в слове. И рассказывать о них можно больше.

Прежде всего — бабушка. Кстати, это она намекнула мне на то, что мои предыдущие хозяева — люди особые:

— Смотри, Наум. Они не просто так. Ихние там были, в урмане, в банде.

Правда, и те предупреждали, что бабушка не того — короче, может и донести. Потом, уже после ссылки, Б.Г. рассказывала мне, что бабушка и впрямь на нас стучала. Представить этого я себе не могу. Не из-за моральной невозможности, а просто она, как и все вокруг, не знала, на что стучать — иначе ей пришлось бы стучать на собственного деда и на саму себя. К тому же мы на общие темы при ней всегда говорили так, чтобы ей было конятно. А бежать мы не собирались, и приготовлений к побегу она заметить не могла. Так что если и стучала, то так глупо, что и тогдашней ГБ было без пользы. Разве что сообщала, кто у нас бывает, чтоб было что подшить к делу. Но это не было секретом. Думаю, что если она и делала нечто подобное, то только потому, что ее распирало от активности и жажды деятельности. Это и привело ее когда-то в ряды активистов



колхозного строительства. Впрочем, это она теперь яростно отрицала. Однажды я совершенно простодушно, в интересах предполагавшейся поэмы, спросил ее:

— Бабушка, я слышал, вы помогали колхоз организовывать...

Но она не дала мне договорить:

— Кто это тебе сказал? Не верь, Наум, не было этого! Врут!.. Враги мои врут! Не верь, Наум!

Должен сказать, что таких «врагов» у нее, видимо, было много, ибо говорили мне это многие. Но я не думаю, что она врала. Не было у нее никакой необходимости, чтобы именно я думал иначе. Да она ведь и видела, что я спросил без подвоха. Просто теперь, когда результаты ее активизма стали очевидны, срабатывал процесс вытеснения. И поэтому все в ней жило сразу. С одной стороны: «Не верь, Наум!.. Врут!.. Враги мои врут!», а с другой — все равно: «Смотри, Наум... Ихние там были, в урмане, в банде». То есть те, кто был против колхозов, — худые люди. Традиция тогдашнего (времен «банды») противостояния в ней не умирала, но причастности своей к «колхозному строительству» она теперь сознавать не желала.

В принципе колхоз организовывала не она, а ее зять, кажется, тридцатитысячник, присланный в деревню на коллективизацию. Я его не знал — при мне он в деревню не приезжал. Видимо, смотреть на плоды своих трудов его не тянуло. Ни из того, ни из другого не следует, что он обязательно был плохим человеком — в национальной трагедии бывают замешаны и хорошие люди. Здесь он женился на дочери нынешних моих хозяев, Христине. Теперь они жили на Кузбассе, в Сталинске. Дед по этому поводу выражался так:

— Зять мой тут наделал делов и уехал, а ты отдувайся, расхлебывай.

Зятя его я, как уже говорилось, ни разу не видел, но дочь Христина при мне приезжала гостить со своим уже зятем — мужем своей дочери, человеком вполне разумным и симпатичным. Христина тоже была вполне нормальной, хорошей женщиной. Вовсе не злыдней, не активисткой и не врагом людей. К нам, несмотря на то что мы были политическими ссыльными, относилась вполне доброжелательно. И то сказать — ведь и ее муж, несмотря на все свои «заслуги перед партией» (а может, и благодаря им), и она

как его жена сами вполне могли оказаться на нашем месте. А то и еще дальше. Но это теперь, а тогда...

Может, и бабушкино участие в коллективизации было связано не только с ее природной активностью, но еще и с материнскими чувствами, а застарелые ее счеты (например, с моими предыдущими хозяевами) были основаны на памяти о страхе за дочь и зятя — противная сторона в этой сознательно спровоцированной братоубийственной «классовой борьбе», наверное, тоже не была слишком мягкосердечной со своими врагами и обидчиками. Такие зацепления возникали между людьми.

Была у стариков еще одна дочка, замужем за работником райкома. Те при нас в доме почти не появлялись. Только на особых семейных торжествах, и я их не помню — мы в таких торжествах не участвовали. По-моему, они даже сопротивлялись нашему водворению в дом родителей — все-таки связь, — но напоролись на жесткий отпор: «А кто нам эти деньги возвернет? Вы?» Пришлось примириться — списали, видимо, на отсталость родителей. Тем более размещать ссыльных где-то надо было, и начальство на это смотрело сквозь пальцы. А может, бабушка в порядке компенсации согласилась стучать. Не знаю.

Приходил только внук «партийных» родителей, приятный мальчик лет двенадцати, разговаривал и со мной о всяких книжках. Правда, однажды после его ухода у меня пропал... листок бумаги. Да, небольшой листочек бумаги, не имевший к нашим с этим мальчиком разговорам никакого отношения. Я это заметил сразу, ибо при всей моей безалаберности вел строгий учет всем своим бумажкам, даже черновикам, даже стихов только начатых и отброшенных, если текст, который эта бумажка содержала, казался мне хоть немного опасным. Я по возможности их уничтожал, а остальные помнил. Ибо хорошо понимал, что при случае любая такая бумажка могла меня погубить. И вот одна такая бумажка, на которой было начертано несколько рискованных строк неудавшегося стихотворения, пропала. И сразу после ухода мальчика. Какой там был текст, я теперь не помню, но тогда знал хорошо. И очень встревожился. Обыскал всю комнату, перебрал все бумаги. Этой не было. Появилась она недели через две после следующего визита этого мальчика — так же неожиданно и необъяснимо, как пропала.

Последствий это не имело. Почему — не знаю. Может, потому, что текст был не прямо политический, а констатировал перипетии моего внутреннего трагического освобождения, и родителям этого мальчика, не очень искушенным как в литературе, так и в идеологии, он был не совсем понятен. И значит, испугался я только по принципу «на воре шапка горит» — я-то знал, чем вызваны были строки. Вероятно, они — кому охота губить человека — удовлетворились этим непониманием: хочется о людях думать лучше. Хотя превращать мальчика в бессмысленного доносчика — тоже не высший класс. А может, мальчик зажегся романтическим пламенем и сам пошел таким безопасным для себя способом на бой с врагами — кто знает! Мутная была эпоха.

Не знаю, впрямь ли стучала бабушка, но отношения с ней, в частности у меня, были хорошие. Она была не слишком грамотной, но отнюдь не глупой. Разговаривать с ней было интересно. Удивляли меня ее реакции. Однажды по ее просьбе я прочел ей «Сказку о царе Салтане», но она особого впечатления не произвела. Но на «Сказку о золотой рыбке» бабушка реагировала очень живо:

— Ишь ты какая! Всего ей было мало... Вот и получила!

Вообще она была склонна к притчам. Например, она одобрительно относилась к тому, что я любил кормить собаку.

— Это правильно, Наум. Собак кормить надо. Мы ведь все едим собачью долю. Да, да. Ведь раньше колос с зерном был такой большой, как нынче стебель, а стебель, как нынче колос. И люди совсем стали ставить хлеб ни во что — краюхами попки детям вытирать. Господь рассердился и сжег все посева. Год... Второй... Пес и взмолился:

— Господи, а мне за что помирать? Я не виноватый.

Господь пожалел пса.

— Ладно, — сказал. — Твою долю я оставлю.

И оставил он только собачью долю — короткий колос на длинном стебле. Как теперь. Вот видишь!.. Нет, собак мы кормить обязательно должны — едим-то мы теперь от собачьей доли.

Вторая запомнившаяся мне притча была даже несколько странной в устах деревенской активистки. Зашел разговор о колхозах.

— А что, Наум, так и сталося, как старые люди говорили. Жил у нас тут когда-то давно, еще при царе, один — то ли ссыльный, то ли кто. Посмотрел он, как мы живем — а жили мы хорошо, богато, да все чем-то недовольны, — и говорит:

— Вы еще беды не знали... Вот когда будете ходить со своей краюхой на чужое поле, тогда узнаете.

И гляди — так и сталося.

Разумеется, грозил когда-то давно местным сибирякам пришлый человек крепостным правом, которого не было в Сибири, а сталося нечто гораздо более страшное. Но такое было у бабушки отношение к колхозному строю, за установление которого многие в деревне ее до сих пор ненавидели.

В трагическую мы жили эпоху. Радость ложного творчества соблазняла не одних только интеллектуалов. И трагедия, связанная с ее крушением, наступала не только их.

Дед был тоже человеком интересным и умным. Это именно ему принадлежит соображение о том, почему так много людей сидит и такие большие срока́ дают («строить надо, а денег нет»). Помню, как это было. В нашей горнице сидели несколько человек, в том числе Алик, рассказывавший трагическую историю о колонии малолеток, мной уже здесь пересказанную. Рассказывали в тот вечер и другие истории.

Тут дед и изрек свои соображения. Стреляный народ, который прекрасно понимал, что бывает не только за высказывание, но и за их выслушивание, принялся деду как бы возражать:

— Да что вы, бабушка! Не так это!.. Конечно, не так.

Но дед при всем своем уме принимал эти возражения за чистую монету. И кроме того, он переживал радость открытия: ему ведь действительно никто этого не говорил — сам догадался. И он стоял на своем:

— Нет, не говорите... Так это и есть... Я вижу.

Он многое видел, о многом догадывался. Но не видел, что мы боимся, и не догадывался — чего.

Дед был умен и догадлив, но замысловатость советской власти при Сталине оказывалась не по зубам его догадливости и уму. Однажды он попал впросак, найдя объяснение тому, за что нас сюда сослали:

— Вы работать не хотели там, где жили — вот вас сюда и сослали. А наших, которые здесь не хотят, отседа еще куды-нибудь. А люди — за это деньги платят.

Я не сразу понял, что это значит, и опешил. У меня даже мелькнула мысль, не подался ли дед в антисемиты. Но нет, ларчик открывался более просто. В этот день дед узнал о том, чего я уже здесь касался — правление колхоза получило бумагу с требованием уплатить по две тысячи рублей с головы за каждого нерадивого колхозника, высланного по решению колхозного собрания. Решало, конечно, не собрание, а правление по требованию райкома — собрание только покорно ратифицировало эти «предложения». Но считалось (и по форме выходило), что решало собрание, а государство только это его независимое решение выполнило. И естественно, что теперь оно требовало оплатить свои услуги. Словно его отношения с колхозами и колхозниками действительно были коммерческими. Но они были совсем другими. И цель рассылки этих требований была отнюдь не меркантильной. Таким образом Сталин отменял развернутую им было кампанию по высылке нерадивых.

Суть была в том, что эта кампания провалилась. Как мы видели (вспомним разговор кульчинского председателя с «нерадивой» Марией), наказанные часто от этого наказания выигрывали, вызывая зависть наказавших. Но отменять свои гениальные решения или признавать ошибки товарищ Сталин не любил. Потребовав оплаты за услуги (хотя о том, что это удовольствие платное, никто заранее предупрежден не был, но с вождями не торгуются), он выходил из положения, ничего не отменяя и ни в чем не признаваясь. Отпала даже необходимость отменять эту кампанию — она прекращалась сама собой. Деньги (для колхозов непосильные) потом, я думаю, списывались. Тем самым дополнительно проявлялась забота о колхозах и колхозниках.

Дед всех этих идиотских тонкостей знать не мог и попал тут впросак. Но обычно он попадал в точку.

Никогда не забуду деда в день каких-то очередных «все-народных выборов». Выборы в деревне — я уже этого касался — были чем-то вроде праздника. Но никак не для деда. Отношение деда к советской действительности было предельно простым — он ее не столько даже не принимал, сколько не уважал. Конечно, не политически, а эмпирически, но в общем и целом. Особенно не уважал он действительность колхозную.

— Я бы тоже плохо жил, но у меня — спасибо — сына убили, — саркастически объяснял он.

Сын погиб на фронте, но поскольку он был офицером, старики получали за него пенсию — четыреста рублей.

Но на выборы дед ходил исправно, поскольку таков был порядок, а бунтовщиком он не был. Да и пионерчики донимали. Так что на избирательный участок, помещавшийся в правлении колхоза, дед пошел безропотно.

Я же — как человек, точно знающий, что следователи МГБ всегда сильно интересуются отношением подследственных к своему долгу избирателя, и не ищущий новых «приключений на свою задницу», проголосовал сразу после открытия участка и теперь сидел за столом в кухне, что-то читал. Сидел я у торцовой стороны стала. Над небольшим окном — оно было справа от меня — висело небольшое зеркальце. Дед вернулся после выборов почему-то очень мрачный. Он разделся, повесил тулуп на вешалку и подошел к столу. Остановился, и, высокий, стройный, несмотря на свои семьдесят семь лет, стал, глядя в зеркальце над окном, расчесывать свои уже седоватые, но еще вполне жесткие волосы. Продолжалось это минут пять. Дед расчесывал волосы и молчал, я молча читал. Мы друг другу не мешали. И вдруг среди этой мирной тишины из его уст громом вырвалось неожиданное восклицание:

— Неправильно!

Я опешил. Решил, что это «неправильно!» относится ко мне, что я чем-то помешал деду, и спросил:

— Что, дедушка?.. Что неправильно?

Но деду было не до меня.

— Да это... Все!.. Твою мать! «Дедушка!.. Дедушка!.. Сюда, дедушка!» Да что я, маленький?

И я понял, что его возмутило. Действительно, пожилого, привыкшего себя уважать крестьянина вдруг начинают «окружать заботой». Суют ему в руки абсолютно ему ненужную бумагу, подхватывают под руки, ведут и показывают, куда эту ненужную бумагу следует опустить. Дед был возмущен не фиктивностью выборов, не отсутствием настоящих избирательных прав (не было б их, он бы о них и не думал), а тем, что с ним на старости лет обращаются как с ребенком — навязывают роль манекена или комедианта. Роль, которую большинство более молодых и «современных» соглашались играть, даже не замечая этого. В этом корень всех наших нынешних бед.

Это было естественное чувство собственного достоинства, свойственное сибирскому мужику.

В Первую мировую войну дед и его «лелька» (двоюродный брат по-местному) были взяты в армию, в слабосильную команду. Все, конечно, относительно. Слабосильным дед и теперь не был. А лет тридцать назад, лет в сорок пять, и говорить нечего. Однако по закону люди его возраста относились к слабосильным. Но «факт» в другом. Однажды фельдфебель этой команды сунул «лельке» зуботычину. Факт хоть к тому времени и запрещенный, но вполне обычный. Фельдфебель вряд ли придал ему какое-либо значение. Как, впрочем, и все окружающие. Но наши «лельки» были потрясены. В отчаянии они залезли на какой-то высокий чердак, чтобы броситься оттуда вниз головой — жить, получив или имея шанс получить зуботычину, им казалось невыносимо. Они уже стали решать, кому первому бросаться. Остановило их только то, что высота этого чердака была, по их мнению, недостаточна, чтоб убиться, а оставаться навек калеками не было резону. Очень неосторожно поступали колчаковские офицеры, когда позволяли себе пороть сибирских крестьян. Даже когда бывали справедливо возмущены ими.

Дед вовсе не был антисоветчиком. Он просто в своем отношении к жизни и во всех своих оценках был настоящим крестьянином. Однажды это проявилось с наибольшей полнотой. Мы с дедом вышли из дому вместе, встретили соседа (не «колчаковца» — другого), поговорили, пошли дальше. И тут дед меня удивил категорическим высказыванием по его адресу:

— Никудышный мужик!

На мой вопрос, почему он так думает, дед еще более категорически ответил:

— А ты посмотри, как он живет... Изба у него какая... Да и в избе у них нет ничего...

— Так ведь, дедушка, колхозы... — попытался я робко вступить за соседа.

К колхозам дед относился без всякого пиетета, но тут это на него не подействовало:

— А он и до колхозов плохо жил...

— Так что он, лодырь? — спросил я. На лодыря сосед не походил.

— Да нет, не лодырь, — скривился дед, — а так... Ну ты сам посуди. Ни плотничать, ни столярничать, ни бондарничать, ни шорничать не умеет... Разве это человек?

Последние слова дед произнес с такой убежденностью, что я смутился.

— Так я ведь, дедушка, тоже не умею.

Но на деда эти слова вообще не произвели впечатления, как не относящиеся к делу:

— Так ты ж не крестьянствуешь!

Счет он предъявлял только крестьянам, как я иногда только поэтам.

— А знаешь, Наум... Вот есть мужик — пока в рабочих живет, ему цены нет, а сядет на свое хозяйство — не идет. Тут другое надо иметь.

Разумеется, это наблюдение крестьянина сибирского, не знавшего, что значит безземелье. Но оно правильно и вообще. И не только в применении к крестьянству. Есть люди, могущие вести хозяйство, есть умеющие только хорошо или квалифицированно выполнять свои обязанности. Квалифицированный рабочий не всегда значит меньше, чем директор. А дед по своей природе был хозяином.

Хотя в молодости «сесть на свое хозяйство» ему было совсем не просто. Началось с того, что отец за что-то сильно рассердился на него. За что — дед не рассказывал, но в тоне его рассказа не было осуждения. Сейчас он относился к этому как к факту и фактору — без оценки, как старается современная передовая проза. Но фактором это было серьезным. Ибо отец не только тут же, посреди зимы, выселил сына с его женой и двумя маленькими детьми из дома в баню, но и твердой рукой выделил его из общего семейного хозяйства. Причем выделил так, чтоб максимально затруднить своему сыну начало самостоятельной жизни. Единственное, что не беспокоило сына, — это то, что больше всего беспокоило выделяемых в других местностях: вопрос о земле. Земли вокруг было сколько угодно — бери и распаивай.

Впрочем, отец дал выделенному сыну немного скота, даже две или три лошади. Но это — все. Ни инвентаря, ни упряжи, ни — что самое страшное — зерна для посева он сыну не дал... Положение было аховым. С отсутствием инвентаря и упряжи сын как человек мастеровитый еще надеялся к весне как-то справиться. А вот отсутствие «посевно-



го материала» озадачивало его всерьез. Выяснилось, что отец строго-настрого запретил окрестным хозяевам ссужать его сыну. И когда он приходил просить об этом, ему отказывали и откровенно объясняли почему. Пошел он и к лавочнику Абрамовичу. Тот его выслушал и сказал:

— Я б тебе, конечно, отдолжил зерно, но отец твой не велит.

Дед и теперь не осуждал ни этих мужиков, ни Абрамовича. Насчет Абрамовича он, понимая щепетильность его положения, даже отметил сочувственно:

— Не мог же он пойти против отца.

Выручил тогда деда какой-то очень крепкий крестьянин. Может быть, даже из другой деревни. Когда дед явился с просьбой, тот усадил его за стол и начал расспрашивать, как он собирается вести хозяйство. Угадав в просителе будущего настоящего хозяина, он согласился ему помочь. Дед и теперь с удовольствием вспоминал все нюансы их непростой и умной беседы, беседы двух умных крестьян, и до сих пор был благодарен ему за то, что тот первый признал в нем настоящего хозяина. А то, что возратить дед обязался во много раз больше мешков зерна, чем брал, дед вообще ни во что не ставил. Главное — спас! Благодаря ему дед потом и смог стать хозяином.

Поскольку здесь опять как бы всплыл проклятый еврейский вопрос, уточняю, что дед хоть и знал, что я еврей, но мало меня с этим понятием идентифицировал — так что соображение об Абрамовиче было высказано вполне спонтанно, а вовсе не из тактичности. В Сибири во времена дедовой молодости вообще почти не было антисемитизма, а семья Абрамовичей, судя по упоминаниям вскользь, которые мне приходилось слышать из разных уст, органически вошла в местную жизнь и оставила по себе в деревне хорошую память. Как ни странно для «национально мыслящих», судьба Абрамовичей вообще была связана с судьбой органической жизни. Их выкорчевали одновременно с ней. Выгнали их или они сами сочли за благо уехать — не знаю.

Чуть выше, рассказывая про неудачную дедову догадку о причинах нашей ссылки, я употребил фразу: «У меня даже мелькнула мысль (сразу же отпавшая), не подался ли дед в антисемиты». Именно «не подался ли». Ибо ни из каких других его высказываний это не вытекало. Естественно, никаким размышлениям о еврейском вопросе он не преда-

вался. Но по деловому опыту (разумеется, доколхозных времен) у него сложилось представление о евреях как о людях разумных и полезных. С уважением (не специально, а рассказывая о другом) отзывался об Абрамовичах, с удовольствием вспоминал о некоем Левоне (Леоне — как только сегодня, через пятьдесят лет, я вдруг догадался) Моисеевиче. Отличился этот Левон Моисеевич вот чем. Однажды, когда в этой местности, во всем Каинском округе, был такой страшный неурожай, что у мужиков не было семян ни на озимые, ни на яровые, этот Левон Моисеевич, кажется, каинский аптекарь, съездил куда-то и «пригнал» оттуда товарный состав с зерном. Зерно это он стал ссужать мужикам. Опишу, как это происходило, то есть какие были нравы. Мужики подъезжали, приказчик или сам Левон Моисеевич спрашивал, имея в виду количество мешков зерна:

— Сколько тебе?

Мужик отвечал. После этого ему говорили, сколько он должен будет вернуть после урожая, мужик кивал, грузил на свои подводы зерно и уезжал. У него не только не брали расписки, но и не спрашивали ни его имени, ни названия деревни, где он жил. Дед взял у Левона Моисеевича шесть мешков.

— Привезешь тридцать, — сказал приказчик, ничего никуда не записывая. И дед отъехал. Помнить, сколько надо отдать, предстояло ему одному — больше это нигде не значилось. Но дед помнил. И никто не забыл. Левон Моисеевич, по-видимому, знал свою клиентуру.

Осенью дед ему исправно и с великой благодарностью отвез все эти тридцать мешков и выгрузил их в указанном месте. У него опять ничего не спросили, никто не поинтересовался, сполна ли он выполнил обещание. Обе стороны знали, что уговор дороже денег — такие еще были времена.

— Какой умный был человек Левон Моисеевич, — вспоминал дед с благодарностью, — и мужика выручил, и сам заработал.

Никакого желания подсчитывать барыши Левона Моисеевича дед не испытывал. Ему важно было только то, что тот совершил полезную работу — выручил мужика. А иначе что? Переться каждому мужику за зерном в «Ташкент — город хлебный» (как герою повести Неверова) или в другую даль за хлебом? Проездишься, да и дома дел хватает. А тут Левон Моисеевич съездил один за всех и всех выручил. И

сколько б он на этом ни заработал — все его. Спасибо. После урожая тридцать мешков зерна весили для деда и других мужиков намного меньше, чем перед севом — шесть.

Всплывал этот Левон Моисеевич в рассказах деда еще раз — уже в качестве аптекаря. Когда не то к деду, не то к бабке привязалась какая-то изводящая хворь, с которой не было сладу, этот Левон Моисеевич дал ему какие-то «аппетитно-мытные», не то «вытные» (мятные?) капли, от которых через некоторое время эту хворь как рукой сняло. Эти капли потом помогали от всех болезней. Но после этого дед этих капель нигде достать не мог — никто их не знает. Так вот — не слыхали ли мы о таких каплях? Мы не слыхали и, естественно, не знали, что он имел в виду. Думаю, что от большинства болезней деда и его близких вылечивали не эти капли, а несокрушимая сибирская закалка и здоровая жизнь. Но деду нравилось верить в эти сказочные капли. Хотя особой склонности к сказочным объяснениям дед не питал.

И, может быть, поэтому его воображение потрясла обыкновенная радиопередача. Мы поставили у себя репродуктор-тарелку, и когда дед услышал из этой тарелки радиоголос: «Внимание! Говорит Москва!» — его восхищению не было предела.

— Едрить твою мать! Ты подумай: в Москве говорят, а здесь слышно!.. Ну и ну!..

Никакого желания иронизировать над наивностью деда в связи с этой реакцией я не испытываю. Думаю, что лучше бы нам иронизировать над самими собой — над тем, что мы потеряли ощущение, что удивительное удивительно. Если бы не потеряли, больше бы дорожили.

Да, представлений о радиоволнах дед не имел, они до тех пор никак не сказывались на его жизни. Но о том, с чем ему пришлось соприкоснуться, он имел вполне ясное и четкое представление. Окружающую жизнь и людей он знал и чувствовал. И такие вещи, как упоминавшаяся вера в капли (тоже пришедшие не из его мира), с ним случались редко. На моей памяти он проявил наклонность к сказочному объяснению явлений еще только один раз. Когда рассказывал про мор, когда-то напавший на скотину. Причем это страшное бедствие было описано им вполне реалистично. Скотины у всех было много, и погубил этот мор ее много. Фантастическое появилось только в конце рассказа:

— А потом этот мор обернулся птицей, два раза крикнул и улетел. И скотина пропадать перестала.

Разумеется, это не объяснение, а образное видение. К тому же, если мор был птицей, то все равно неясно, почему эта птица прилетала в Каинский округ и почему улетела. Но иронизировать не стоит. Ибо кто из самых ученых и просвещенных сегодня объяснит, почему приходит и почему уходит грипп. Ясны пути его распространения, ясны его возбудители — вирус, конечно, более ясный объект, чем птица, которая кричит два раза перед окончанием мора, но почему он вдруг в какой-то момент возникает и движется, мы также не знаем и не представляем. В этом смысле не так уж далек вирус от птицы.

Разумеется, все эти дедовы рассказы относились к доколхозной жизни — теперь и мору делать было уже почти нечего.

Впрочем, и теперь дедушка с бабушкой жили в некотором достатке. Несмотря на возраст, вели хозяйство. С них как с престарелых колхозников и налоги теперь были поменьше, что немаловажно.

Кстати о налогах. Городские жители просто не представляют, чем были эти налоги для сельских жителей. Представить этого себе не могли и враги. Через много лет в Кишиневе на пропагандистском стенде, озаглавленном «Не забудем! Не простим!» и посвященном зверствам оккупантов, я видел приказ румынского губернатора Трансильстрии (довоенной Молдавской АССР и Одесской области), генерала Александриу, который именем правителя Румынии, генерала Антонеску, строго объявлял, что жители Трансильстрии облагаются продовольственным налогом в пользу доблестной румынской армии, ведущей сейчас тяжелые бои с большевиками. Но поразила меня не наглость временных победителей, а размеры налога. С каждого двора, имеющего птицу, полагалось неукоснительно, под страхом наказания слать **ДВЕ КУРИЦЫ И ДЕСЯТОК ЯИЦ**. Не хватало у румын творческой фантазии. В Чумакове с каждого колхозного двора (есть в нем птица или что другое, государства не касалось) полагалось в год **ЧЕТЫРЕСТА ЯИЦ**. Или денежный эквивалент. То же про мясо, про шерсть и про что угодно. А кроме того, был и денежный налог. Налогами, хоть и менее тяжелыми, но тоже многообразными, облагались и «рабоче-служащие», но они — если имели хозяйство.

Колхозники — всегда. По мысли налогоплательщика, иметь хозяйство они были обязаны. Не зря ведь в районе так много было недоимок и недоимщиков, а продукты на базаре стоили так дешево. И тут ничего удивительного — на ограблении деревни существовало тогда все: государство, промышленность, культура даже. Конечно, и торговля полезными ископаемыми кое-что приносила. Главным источником ограбления недр стало потом. А тогда еще все держалось на ограблении и хищнической эксплуатации деревни. Из нее под гром литавр и втихаря высасывались все соки. Пока не высосали. Тогда стали думать, что с ней делать. Но это потом... А пока — грабили.

И послабление в налогах, конечно, было существенным фактором благосостояния наших хозяев. Наряду с коровой и огородом. Каждую весну их огород вспахивали при помощи колхозных быков. Иногда быков (с плугом и пахарем) присылал колхоз (осуществлял заботу о престарелых колхозниках), иногда дедушка с бабушкой нанимали этих же колхозных быков privately. Однажды за плугом по их просьбе ходил и я. Работа простая, но совсем не легкая. Надо изо всех сил давить на ручки, вжимать плуг в почву, чтоб он пахал, производил работу, а не волочился без толку по земле. А это — особенно без привычки — совсем не просто. Я еле выдерживал, хотя земля была отнюдь не целинной.

Но хватит об экономике и хозяйстве — тем более что в последнем я уж совсем некомпетентен. Да и для этой книги важнее жизненные впечатления. Ну хотя бы отношения деда с бабушкой. Со стороны они выглядели забавно, особенно материальные. Упомянутую «пензию» за погибшего сына они делили строго пополам. Дед свою половину относил в «банк» (почему-то именно в банк, а не в сберкасса), а бабушка на свои вела домашнее хозяйство: покупала хлеб, соль, сахар и прочее. Это была рутина. Но деньги, получаемые от нас, поначалу вызвали у них некоторую напряженность. Деньги от нас получала бабушка, и дед поставил вопрос ребром — эти деньги тоже следует делить пополам.

— Хорошо! — возмутилась бабушка. — Бери, бери половину! Только все сам теперь будешь покупать! Плати за хлеб, за сахар, за карасин — за все!

Деда почему-то эта логика не устраивала.

— Ишь ты! А сама на дармовщинку хочешь?

Однако какую-то брешь в своей позиции дед, видимо, уловил и сам — во всяком случае, на дележе он больше не настаивал.

Имелись у них друг к другу и нематериальные претензии, давние и наболевшие. И, конечно, не столь забавные. Дело в том, что дед был раньше — и не только в молодости — большой, как теперь говорят, ходок, любитель женщин... И надо полагать, пользовался взаимностью — он и теперь еще был красив и статен. Жаловались нам по этому поводу друг на друга обе стороны. Бабушка — несколько раз.

— И ты знаешь, какой он был? Все у него полюбовницы да полюбовницы, — говорила она.

— А вы его любили, бабушка? — спрашивала Б.Г.

— Да как же не любила! По ночам плакала — а его все нет да нет. И знаешь, что он делал, ирод? Из дому полюбовницам носил. Из дому!

Из дому носить — это было самое глубокое оскорбление. Видно, дед не только пользовался, иногда и самого сильно забирало, раз нарушал естественные крестьянские каноны: нес не в дом, а из дому. Но и у него были застарелые претензии к бабушке, раздражение и даже обвинение:

— Ты, Наум, ей не верь. Что она так — «тю-тю-тю», «тю-тю-тю»... Враг!.. Суший враг!.. Знаешь, я по бабам ходить любил. Она, холера, конечно, злилась, фырчала. И знаешь, что надумала?.. Семь лет назад, — деду в момент рассказа было семьдесят семь, — знаешь, что надумала? У нас тут одна была — травами тут лечила, заговаривала. Так привела ее перед тем, как мне в баню идти, — та что-то мне подсыпала в воду, пошептала, и — все! Конец! С тех пор — ничего. Семь лет! Я ж тебе говорю — враг!

У каждого из них были планы на случай кончины супруга. У бабки:

— Когда этот ирод помрет, я продам дом и уеду в Сталинск к Христине. Буду внучат (на самом деле правнуков) нянчить.

У деда:

— Когда этот враг помрет, я продам дом (продажа дома входила в оба плана) и уеду на рыбалку.

Все это, конечно, были слова. Они оба друг в друге нуждались — не зря же они при всем при том жили дружно и слаженно. Все это проявил случай. Однажды дед ушел ненадолго в лес высмотреть себе «лесины» для ремонта дома. Он

знал, что через несколько лет надо будет менять нижние венцы дома (сейчас они были еще почти в порядке, но это ведь не навсегда), и хотел заготовить их загодя. Он предвидел, что сходить в «урман» и искать там нужные «лесины» через пару лет ему может стать и не под силу. Да и «лесинам» полежать у дома несколько лет тоже не лишне — сырой лес на венцы не годится пусть полежат, высушатся, дойдут до кондиции. В тот день дед собирался только высмотреть эти «лесины». Срубить их и привезти он надеялся потом, когда найдет транспорт и людей в помощь.

Другими словами, в лес он собирался ненадолго. Так и бабке сказал. Но ушел утром и... исчез до позднего вечера. Тут-то и выяснились настоящие бабушкины чувства. Часов с двух-трех, когда ему вроде пора б уже было вернуться, бабка просто места себе не находила. Ходила по дому, смотрела в окна, справлялась у меня, как я думаю, что случилось, и даже плакала. Потом оказалось, что дед встретил в лесу возчиков, договорился с ними, и они втроем разом проделали всю работу. Но вернулись, когда уже было темно. Дед был очень доволен собой и тем, что сделано, может быть, последнее важное дело в его жизни. И бабка сияла. Возникшая было возможность исполнения мечты — продать дом и ехать к Христине — в тревоге за деда не была ею замечена, и поэтому исчезновение ее не могло восприниматься как утрата.

В общем, был это обыкновенный, а потому анахроничный сибирский крестьянский дом, со своими драмами, со всякой живностью и своим черным котом Васькой. Сначала был еще котенок. В жаркий день, когда все двери и окна бывали распахнуты настежь, они развивали кипучую деятельность: с невероятно деловым видом оба — Васька впереди, а котенок следом — на бешеной скорости врывались из сеней в кухню, потом из кухни в горницу, пересекали ее по диагонали и выскакивали в дальнее окно. Потом обегали дом, и снова опрометью в сени, через сени в кухню, из кухни в горницу, и — в окно. И так бесчисленное количество раз — деловито и целеустремленно. Словно делом занимались. Потом котенок пропал, а бегать одному Ваське, видимо, показалось несолидно — одно дело вести за собой юношество, а другое — просто так носиться. И Васька эти пробежки прекратил.

Отличался кот еще тем, что умел открывать дверь на себя — просунет лапу под дверь, зацепит когтями и потянет. За бабушкой ходил, как пес.

— Вот гляди, — сказала она однажды, — скажу что-то в голос, он тут же и явится.

Так и произошло. Кот спал в кухне на печи. Мы сидели в горнице, дверь была закрыта. Но как только бабушка громко заговорила, послышался звук прыжка, и тут же почти тихо отворилась (на себя) дверь, и с независимым видом появился Васька, сел в сторонке. Словно просто так зашел, на огонек. А когда бабушка вышла, он так же независимо вышел вслед за ней.

Все это быт, точнее, рудименты деревенского быта. Я никогда с ним так тесно не соприкасался. В доме этих стариков я впервые по-настоящему соприкоснулся если не с крестьянской жизнью — ее уже не было, — то с внутренним миром крестьянина, с миром крестьянских ценностей. Может быть, потому этот мир и смог сохраниться в этом доме, что хозяйка его имела некоторые заслуги по его разрушению и некоторую все-таки близость к властям предрешающим. Я этого не исключаю, такие парадоксы соприсродны сталинщине.

Прожил я в их избе не очень долго: сколько — теперь не считаешь, максимум чуть больше года. А вынес очень много... Разумеется, вокруг жила деревня, и это тоже дополняло и оттеняло мои «домашние» впечатления. Но и они бросали свою проекцию на все остальное.

Этого мира давно уже не существует, да и тогда он уже существовал только как пережиток. Нашло ли человечество более высокие ценности, чем те, которые были разрушены — у нас насильно и до конца, а в остальном цивилизованном мире — естественно и не до конца? И найдет ли? Хотелось бы, чтобы нашло. И чтобы эти найденные ценности в чем-то были и родственны исчезнувшим — ну хотя бы в здравости и органичности. Но тогда государство у нас делало все возможное, чтобы подорвать веру людей в здравый смысл и доверие к своей органичности. И, к сожалению, в этом преуспевало.

— Нынче каждый гражданин, — «политично» выбирая для гостей солидные слова, резюмировал однажды это положение дед в разговоре за рюмкой со случайными ночев-



щиками, — нынче каждый гражданин только и глядит, как другого объегорить.

Деревня по таким законам раньше не жила и к таким сентенциям не располагала.

### **Love story (Любовная история)**

Пусть этот заголовок никого не настраивает на лирические ожидания — эта любовная история произошла не со мной, и вообще не в ней тут дело. Кончилась она трагедией, в чем вроде нет ничего удивительного — любовная история, особенно такая экзотическая, как та, о которой я сейчас расскажу, всегда имеет шанс кончиться трагически. Может, она бы кончилась плохо (правда, по-иному плохо) и без вмешательства внешних сил. Но я сейчас рассказываю об этой истории именно потому, что главную роль в ней сыграло именно вмешательство внешних сил — в данном случае сталинского государства. А заговорил я о ней именно сейчас, в этом месте повествования потому, что пока еще не совсем ушел от рассказа «о деде и бабе». Ибо началась эта история — для меня — в их доме. Впрочем, никто еще не знал, что она началась.

Однажды, когда я сидел у себя в горнице (пятистенная изба состоит из кухни и горницы) и чем-то занимался, писал или читал, из кухни послышался звяк щеколды, кто-то вошел, и сразу начался какой-то оживленный разговор. Все это я отметил чисто механически, ни на секунду не отвлекаясь от того, чем был занят. Меня это не касалось — мало ли кто мог прийти к старикам. Но через некоторое время я услышал веселый призыв бабушки:

— Наум, или сюда... Цыганенок пришел.

Я вышел. В кухне у дверей стоял высокий, стройный, необычайно красивый, очень розовощекий и чернобровый (как насурьмленный) парень лет семнадцати-восемнадцати, почти мальчик, с которым бабушка вела беседу. Я его видел впервые, но не очень удивился, ибо в артели «Заря», где тогда работал, повстречал его отца, бородатого цыгана средних лет, который говорил, что прибыл сюда с семьей и собирается здесь поселиться (вышло постановление, обязывавшее цыган перейти к оседлой жизни). Видимо, цыганенок приходил знакомиться, налаживать контакты. Дед в это время спал, но бабка его разбудила:

— Старик, вставай — цыганенок пришел.

И завязался у них разговор на цыганскую тему, с шутками и подначками. Старики отнеслись к нему как к забавному развлечению. В основном паренька все время возвращали к склонности цыган воровать. Помню, как в ответ на изложение планов цыган осесть и где-то работать дед выразился прямо:

— Так вы ведь украдете...

Надо сказать, что и цыганенок не остался в долгу и резонно заметил:

— А теперь и не только цыгане крадут! Все тащат, если плохо лежит, — с чем дед, как человек честно мыслящий, не мог не согласиться.

Потом цыганенок ушел, и я его больше не видел. Зато многое слышал. Ибо у него завелся громкий роман с женой «шапошника» Шуркой.

Перед тем как начать рассказывать о романе, надо рассказать о самом «шапошнике». В деревне он упоминался только под этой кличкой, обозначавшей его профессию, а как его звали, я, если и знал, не помню. Они с Шуркой были почти единственными, кто остался от первого, урочьего, этапа — остальные разбежались. Кроме них я знал только одного человека, о котором ниже. И еще вышеупомянутого Мурата. Ничего удивительного — уркам паспорта не нужны, а из уголовных после лагеря в ссылку отправляли не просто урок, а только бандитов, осужденных когда-то по статье 593.

По ней же был осужден когда-то и «шапошник». Я однажды приходил к нему по какому-то делу — может, даже шапка понадобилась — и разговорился. Конечно, бандитом он не был, был просто «пришит» к ним «делом», но какие-то дела с бандитами он имел (возможно, покупал у них материал для шапок — в начале тридцатых достать его было практически негде), за что его и уравнивали с ними в правах, то есть осудили по той же, самой страшной и почетной (среди урок, конечно) статье 593. Но при первой возможности (а она представилась только после полной отсидки, по прибытии в ссылку) он от этого почета отказался и вместе с женой Шуркой осел в деревне.

С Шуркой он сошелся в лагере. Она тоже сидела по урочьей статье, но по какой, не знаю. Может, и не по бандитской. Поэтому не знаю, прибыла она сюда вместе с мужем

по этапу или сама приехала к нему потом. Во всяком случае, когда я сюда прибыл, она уже здесь жила в качестве его жены. Лет ей было около тридцати. Была ли она красива? Не знаю. Была несколько суховатой, угловатой, с вызовом — некоторым такие нравятся. Вроде особой верностью мужу она и до этого по необузданности натуры не отличалась, вроде и скандалы с мордобоем бывали. И, кажется, ее скандальный роман с цыганенком, о котором все знали, тоже не обходился без мордобоя, но это все слухи, а может, и ошибки памяти. С ней, да и с «шапошником» у меня не было никаких отношений, и знал я их плохо. Так что и слухами о ее страстном романе с цыганенком я тоже мало интересовался. Они меня удивили, но не взволновали. Только жалко было «шапошника» — человек уже в годах, а такой театр имеет на дому. Но то, что случилось дальше, поразило всю деревню. И меня тоже.

Случилось это в клубе на новогоднем вечере. Бес на него занес и Шурку. Вероятно, с цыганенком. Естественно, была выпивши — ради праздника. Плясала. Разошлась. И ошалев от водки, танцев и любви, она в разгар веселья выскочила на сцену и стала во весь голос исполнять матерные частушки о Сталине. Она никогда до сих пор не проявляла интереса к политике, сидела по уголовной статье, а тут вдруг такое. Откуда взялись эти частушки? Урки в своей среде вообще презрительно относятся к власти, к любой. Кроме того, в их среду отнюдь не по природной склонности вошло много кулацких сирот, имевших персональные счета к великому Вождю — было кому это сочинить и подхватить. Но публично исполнять их на «фраерском» вечере — такое урка мог бы себе позволить только в лагере, если имел почему-то расчет заслонить свою уголовную статью «пятьдесят восьмой» — такое бывало. А Шурка ни с того ни с сего — позволила.

Конечно, случай из ряда вон, но в нашей глухомани он все равно мог бы пройти незамеченным. Если, конечно, на вечере не было сотрудников райотдела МГБ и вообще начальства. А его, скорей всего, не было — какому начальнику захочется в новогоднюю ночь «сливаться с массами» в клубе? Да и что могло произойти? От ссыльных (политических) эксцессов не ждали, на местных плевали, кто мог предвидеть, что бывшую уголовницу (или «бытовичку»?) Шурку вынесет на трибуну? В общем, беспокоиться было

нечего. Большинство присутствующих вряд ли вообще уловили крамолу — то ли еще говорили они сами и все вокруг! Да и что обращать внимание на пьяную бабу. Так бы, наверное, и начальство думало. Ему тоже не шибко было нужно это приключение — тем более за пьяную Шурку ордена не дадут. Так бы и сошло. Но — «поступил сигнал». А не принять меры, когда поступил сигнал о публичном поношении имени Самого, Вождя, Хозяина — этого и в глухомани никто не мог. Судьба Шурки была решена.

Сигнализировал директор клуба, «товарищ Орлов» — так его все и называли, что в деревне вовсе не было принято. Чем он был закомплексован, я не знаю, но закомплексованность эта ощущалась. На первый взгляд, его поведение объяснимо — страх. Он директор клуба, и на его объекте при стечении народа произошло такое антисоветское действие. Как же не принять меры, не просигнализировать! Все это так, если бы речь шла о городе, где все было пронизано стукачами, а не в далекой деревне, где и стукачи, если они там были, не знали, на что стучать, ибо и сами — и отнюдь не с провокационной целью — каждый день наговаривали на 58/10. Короче, вполне возможно, что «товарищ Орлов», донося на Шурку, руководствовался не страхом, а комплексами. А возможно, что и просто «положение обязывало». Однако комплексы у него были. Почему-то они в основном были направлены на преследование ссыльных. То ли он выщался над ними своей незапятнанностью, то ли упивался их незащищенностью и своим — пусть хотя бы воображаемым — могуществом, но при любой возможности он старался их притеснять. Правда, возможностей у него было немного, они ограничивались пределами клуба. Но поскольку клуб одновременно был и местным кинотеатром, а кино посещали и ссыльные, то какие-то возможности были. И он их всегда использовал. Входил во всякие вздорные конфликты с ними (по поводу билетов, мест и тому подобных) и по любой чепухе обращался непосредственно к капитану Кошелеву или вообще в МГБ. На меня он тоже раз пожаловался капитану, но я оказался прав, и он после этого долго меня ненавидел. Даже стремился подловить меня на политике. Но я, зная эти его склонности (о них знали все), был бдителен.

Впрочем, потом его отношение ко мне круто переменилось. Произошло это в начале лета, когда еще не был вос-

становлен мост (снимаемый на время лесосплава) и связь между Ушковым и Чумаковым поддерживалась лодками райкомхоза. Мы с ним оказались случайно вдвоем у переправы в Ушкове. Поздоровались и — делать нечего — стали разговаривать. Слово за слово, он спросил, как я живу. Я сказал, что трудно, стал рассказывать о своих невзгодах: ничего не получается, за что ни берусь, все валится из рук и тому подобное. У меня это болело, я об этом и говорил. И в связи с этим отпустил какую-то шутку по своему адресу, вроде того что у меня руки не тем концом вставлены — но более изысканную. И тут он вдруг весело рассмеялся, и не только рассмеялся, а — просиял. Видимо, мучавшие его комплексы отступили, когда он увидел, что я вовсе не важничая перед ним, а открыто говорю и шучу над своими слабостями. И он сразу расположился ко мне дружески — стал приглашать приходить в кино в любое время, все равно, есть билеты или нет — стул он мне всегда найдет. И так он и делал, что было для меня немаловажно, ибо моя близорукость вынуждала меня искать место только впереди. После этой встречи оно мне было обеспечено. Оказалось, что он может быть отзывчивым и даже добрым. Господи, что делают с людьми комплексы, и в какое множество человеческих душ внедряла их наша взбаламученная эпоха! Да не только внедряла — стимулировала их и использовала.

Возможно, его комплексы отыгрались и на Шурке. Скорее всего, он и к ней отнесся как к ссыльной, не очень понимая ее отличие от других ссыльных. И то, что проделала Шурка, его, может быть, даже не столько испугало, сколько оскорбило наглостью: мол, вот как они на меня плюют. Но, с другой стороны, в случае, если бы он скрыл, а оно открылось, ему бы очень даже не поздоровилось. Там ведь тоже «все ходили под Богом», хоть и отнюдь не «под самым боком».

Вынужденно или нет доложил о происшествии «товарищ Орлов» начальству, но доложил. И теперь уже Шурку не мог спасти никто. Ее тут же или наутро через день арестовали и водворили в изолятор райотдела МГБ, аккуратное здание, стоявшее во дворе этого учреждения. Это была сенсация. Если бы Шурка попала в изолятор милиции, в КПЗ — ничего удивительного. Но Шурка в изоляторе МГБ — это сенсация. Ведь Шурка же!

И тут лавстори приобрела предельное выражение. Любонников разлучили, но цыганенок, вместо того чтобы горевать в укромном месте, как приличествовало советскому человеку в таких случаях, стал проделывать невероятное. Он все время бродил вокруг изолятора МГБ, а по ночам стремился прокрасться во двор, забраться на крышу и прокрикивать всякие нежные слова своей возлюбленной! Другими словами, входить в контакт с изолированным антисоветчиком. В любом городе его бы самого за это посадили. Но глубинка есть глубинка — в ней еще оставались пережитки здравого смысла, — его только отгоняли.

Через несколько дней другая сенсация — Шурка повесилась, ухитрилась проделать это в камере изолятора. Воспользовалась неквалифицированностью охраны — на Лубянке бы не дали. Из-за чего? Первое, что приходит в голову, — из-за любви, от которой ее так жестоко и бесповоротно оторвали. Вероятно, в любом случае это имело значение, ибо сказывалось на ее состоянии. Но только ли от этого? Я не настолько хорошо ее знал, чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос. Так или не так, но разрушать человеку любовь и отнимать у него на долгие годы физическую свободу из-за каких-то пьяных частушек можно только в обществе, где все представления о человеке и ценности его жизни — вытравлены.

Я почти ничего о ней не знал. Но помню, что некоторые, знавшие ее лучше, за самоубийство ее хвалили. Почему? А потому, что у нее где-то жила сестра, которая недавно то ли получила хорошую работу, то ли удачно вышла замуж (теперь не помню), и если бы эта сестра вдруг получила родственницу с «пятьдесят восьмой», это сильно могло бы осложнить ее жизнь (уголовная статья родственника карьере не препятствовала — с кем не бывает). Одобряли Шурку за то, что своим самоубийством она мужественно и разумно освобождала сестру от такого родства. Она ведь ушла из жизни во время следствия, не будучи еще осужденной по этой статье, а мертвых у нас почему-то и тогда не судили. Короче, получалось, что она совершила подвиг — ушла из жизни, чтоб спасти анкету сестры. Не знаю, этим ли руководствовалась Шурка, уходя из жизни, но что так ее за это хвалили — факт. И самое страшное, что это соображение было по тогдашнему времени вполне здравым.

Вот что порой было здравым смыслом в сталинском СССР. Избавились ли мы от этого страшного наследства за эти годы? Кто знает. Ведь это была не подлость, а здравый смысл сумасшедшего дома.

### Артель «Заря»

Рассказанная выше история — случай для Михайловского райотдела МГБ исключительный. Занимался он больше нами, политическими ссыльными, народом стреляным и смиренным. Хлопот мы ему в принципе не доставляли. Но за нас надо было отчитываться. В том числе и за мое трудоустройство. А после райпромкомбината у меня с ним дело обстояло плохо. И на меня жали. Потому что жали и на них. Я отнюдь не собираюсь оправдывать это страшное учреждение, но люди везде люди, и ни на кого не надо клеветать — те три-четыре человека, которые составляли штат Михайловского райотдела МГБ Новосибирской области, специально, «от себя», меня не преследовали. Просто не слишком навязчиво, но настойчиво требовали, чтобы я подыскивал себе новую работу. И однажды нашли ее мне сами — предложили поступить учеником сапожника в артель «Заря».

Я это предложение принял, и даже с радостью. Я, как и раньше, был совсем не прочь освоить какое-либо ремесло, а ремесло сапожника особенно. Оно в тогдашних условиях казалось мне особенно заманчивым. Ибо, овладей я им, оно предоставило бы мне если не свободу, то независимость — даже в лагере. Но — «что же делать, если обманула / та мечта, как всякая мечта»? Не пошло у меня и это дело. Максимум чему я научился, — это сучить дратву и ставить заплатки на кирзовые голенища. Так что рассказывать о том, как я осваивал ремесло, а оно не давалось, я не буду — разве что к слову придется. Ограничиваюсь констатацией. Как и раньше, говорить буду о людях или о жизни в связи с ними.

Многое в моей памяти смешалось. Конечно, такого, что не было для меня важным. Помню, например, что артель «Заря» не считалась чисто сапожной, но не могу припомнить ничего, кроме сапожной мастерской. Не помню ни других цехов, ни даже помещений, где бы они могли располагаться. Даже конторы не помню. Впрочем, она мне была

не нужна — ученикам зарплата не полагалась. Может, остальные производства были раньше, но постепенно отмерли? А может, какие-то работы выполняли надомники? Этого я ничего не помню и не знаю. Все мои воспоминания связаны только с сапожной мастерской. Правда, к мастерской прилеплялась еще конюшня, где властвовал политический ссыльный, в прошлом алтайский пахарь, дедушка Иван Андреич. У него еще были другие, неопределенные и тем более неопределимые отсюда функции. Допускаю, что он еще мастерил какую-то упряжь. Но даже если это было так, коллег он явно не имел. И помню я не конюшню, а его самого, как участника всякого рода обсуждений. Ибо мастерская, куда по делу и без дела заявлялся разный люд, была еще и клубом, даже форумом. Этим она мне и запомнилась больше всего.

К сожалению, помню сегодня не всех, кто там работал, хотя благодарен всем. За ту атмосферу сочувствия и доброжелательства, которая там царила и которой я там был окружен.

Прежде всего это относится к моему первому наставнику сапожнику Грише, доброму, сердечному человеку. Я уже упоминал здесь о нем — это он совестился своей коровы, когда вынужден был возить на ней дрова из «урмана». Повидимому, он был инвалидом войны — одну ногу ему заменял протез. Помню еще одного сапожника, низкорослого и крепкого, по имени Иван Попов, доброго, но молчаливого — так что и рассказывать о нем нечего. Мало чего я могу вспомнить и еще об одном работнике — то ли сапожнике, то ли завхозе, тоже инвалиде войны и тоже с протезом вместо ноги. Кроме того, что был худошав и что лицо у него было доброе, а главное, что фамилия у него была графская — Олсуфьев. Он знал это и даже немного этим гордился. Был еще молодой парнишка, кончивший передо мной курс обучения у Гриши. Он пытался рассказывать еврейские анекдоты, но поскольку он не знал, что такое евреи, то еврейский акцент в его исполнении заключался в том, что евреи, как дети, вместо «р» произносили «л». Но ничем злостным эти анекдоты не были, ни меня, ни Цанкера он с этим одновременно мифологическим и анекдотическим племенем не идентифицировал.

Бригадиром сапожников скоро стал Коля Балыбердин, приехавший с матерью к ссыльному отцу. Ссыльным его



отец был не политическим, а уголовным — тем самым четвертым (после «шапошника», Шурки и Мурата), кто остался в Чумакове от первого, то есть бандитского этапа. Ничего урочьего в его облике и поведении не ощущалось — серьезный и заботливый отец семейства. Таких метаморфоз с бандитами не бывает. Я никогда особенно с ним не сходился и не знаю, за что его посадили. И в бандиты тоже могли оформить под кампанию — допустим, борьбы с «кулацким сопротивлением», когда что угодно могли легко приравнять к бандитизму. Точно я тут ничего не знаю, но с самим Колей отношения у меня были хорошие и короткие. Был Коля хорошим мастером, веселым сельским бонвиваном и успешным ухажером. Последнее, при той нехватке мужчин, которая после войны поразила страну и особенно деревню, было делом несложным, но думаю, что Коля был бы по этой части не промах и в других обстоятельствах. Был он остроумен и находчив. Вот как он ликвидировал пьяный скандал, возникший в клубе после последнего сеанса. Едва народ устремился к выходу, как какой-то надравшийся здоровяк почему-то стал, расставив ноги, в дверях и этот выход закрыл. На все призывы, внушения, просьбы, проклятия и даже угрозы упорно отвечал:

— П-пошли к ...! Н-не п-пуц-щу!

Ругательства мужчин сливались с женским визгом, получалось нечто невообразимое, его толкали, щипали, били (правда, в основном женские руки), но он упирался — стоял, расставив ноги, и ни на что не реагировал. Словно знал, что делал:

— Все р-равно!.. Н-не п-пуц-щу!

И тогда к нему спокойно подошел Коля, тронул его за плечо и сочувственно произнес:

— Долго ты тут будешь с бабами разбираться? Да ну их к ...! Лучше пойдем отсюда.

— Пр-равильно! — взревел здоровяк, обрадованный сочувствием и пониманием. — Ну их всех к ... Пошли!

И вышел, обнявшись с Колей. Кстати, этой несложной хитростью Коля спас от неприятностей и самого здоровяка. Таков был Коля. Но в целом мое пребывание в мастерской запомнилось мне не личными отношениями, а общей атмосферой. За отдельным столиком у входа стоял работал Цанкер. Отношение к нему со стороны других сапожников было уважительное — уважали за мастерство и ученость. И он им

действительно объяснял при случае всякие непонятные слова и явления. Правда, иногда он дерзал учить их правильному русскому языку, что мне было смешно. Безусловно, сапожники не знали норм русского литературного языка, говорили по-деревенски, употребляли местные слова и обороты, но говорили вполне по-русски, не нарушали духа и строя языка. Цанкер же легко мог выразиться примерно так:

— Я сейчас вам дам заготовку — такие «туфлички» получатся!

Туфельки и в самом деле получались хорошие, но этого «туфлички» ни один сапожник не произнес бы ни при какой погоде. Мог сказать «тухельки» или даже «тухли», мог бы сказать «туфельков», но никак не «туфличек». Сапожники, конечно, никаких «туфличек» не перенимали и, несмотря на его «уроки», говорить продолжали по-прежнему, но тем не менее выслушивали и его языковые (к счастью, нечастые) замечания с тем же уважением, что и все остальные. Впрочем, и с ними он выступал не часто — когда спрашивали или в общем разговоре. Отношение к нему в целом было сочувственное. Помню, когда к Цанкеру приехали в гости жена и дочь (они теперь жили в Харькове), Гриша просто прослезился:

— К Лазарю жена приехала. И дочка... Тринадцать лет не видел их... Подумать только. Тринадцать лет!

Конечно, «простая душа» Гриша. А подумайте вы, «сложные»! Ведь такие долгие разлуки мужа с семьей только в романах случались. И часто отнюдь не в лучших. В основном в приключенческих — чтоб читателя больше заинтересовать и взволновать. Впрочем, про это и «Одиссеи» сочиняли! А теперь один только Гриша благодаря своей особой сердечности чувствует масштаб несчастья. Ибо это — у всех вокруг. И все мы привыкли, притерпелись. Это для нас не роман, и не приключение, и не особый повод для проявления чувствительности — рутина. Превратил товарищ Сталин то, что поражало воображение, — в ширпотреб. И удастся ли когда-нибудь нам преодолеть эту патологию, ставшую рутинной?

Механизм внедрения этой патологии ярко проявился в любопытном разговоре, произошедшем в стенах мастерской между нашим приятелем, ученым-садоводом Густавом Александровичем Мебертом, и конюхом артели «Заря», алтайским пахарем «дедушкой Иваном Андреевичем» (так мы его

звали). Густав Александрович, человек лет сорока, высокий, благообразный, интеллигентный, с большой и ухоженной профессорской бородой, очень хорошо воспитанный, на разговор этот вовсе не нарывался. Он даже не предвидел его возможности (впрочем, как и все остальные), ибо ничего спорного не говорил. Он просто рассказывал о своих обстоятельствах.

Дело в том, что Густав Александрович был немцем, но попал он сюда не «в общем порядке», как десятки тысяч других немцев в начале войны, а после лагеря — как одна из жертв «тридцать седьмого». Правда, скорей всего, жертвой этой он стал в связи с тем, что был немцем. Но не в порядке национального преследования, а просто потому, что принадлежность человека к «враждебной» национальности облегчала возможность что-нибудь ему приписать: шпионаж в пользу Германии или нечто подобное. Приписывали ведь тогда кому что вздумается.

За шпионаж в пользу Германии отсидел срок и теперь жил в Чумакове один весьма скромный еврей Ефим Гирин, мастер на лесопилке из белорусского местечка. Вина его была велика. За несколько лет до его ареста, еще до прихода Гитлера к власти, на лесопилку устанавливать оборудование приезжали немецкие инженеры. И он с ними, естественно, «сотрудничал». В установке оборудования, но сотрудничал. И тогда они его завербовали — германскому Генштабу необходимо было все время получать оперативные данные о работе местечковой лесопилки. Но зря старались — ибо в пору повышенной бдительности славные органы Гирина разоблачили, и Гитлер вынужден был начать войну, не имея точных данных об этой работе.

А уж если Ефима Гирина оформили немецким шпионом, то Густава Меберта и сам Бог велел. И оформили. Но пока он отсиживал срок, выслали в Казахстан, в Кзыл-Ординскую область — теперь уже «в общем порядке» — всю его семью.

Все это время Густав Александрович тосковал по семье, переписывался с ней. И теперь, оказавшись в ссылке, естественно, стремился с ней воссоединиться. Формально это было вполне доступно — ведь и он, и семья жили в местах расселения ссыльных. Но просить о переводе семьи сюда было бы с его стороны нелепо — здесь не было садов: и значит, перспектив на работу для него, а там сады были. Он

и просился туда. Ему не отказывали, но дело тянулось. В конце концов его туда пустили, но пока уверенности в этом быть не могло, и он нервничал.

Зачем он пришел в мастерскую и к кому, не помню (мог и ко мне), но помню, что он стал подробно отвечать на вопрос: «Как дела?» И между прочим, выразился так:

— Я ведь ничего незаконного не прошу. Я прошусь тоже в место ссылки, а не на свободу. Там я буду так же отмечаться, но только буду жить с семьей и работать. В этом случае удерживать меня здесь незаконно.

Густав Александрович развивал свою мысль вполне толково и логично, и ему никто не возражал, все сочувствовали. Но тут неожиданно на сцену выступил Иван Андреич. Он был высок, крепок и, несмотря на горб, складен и соразмерен в движениях. И, несмотря на то что всегда был занят каким-то делом, всегда был страстным участником всяких обсуждений и споров.

Однажды он напустился на дядю Ваню Кайдыка — о нем чуть ниже. Тот, рассказывая что-то из своей богатой биографии, мимоходом обронил:

— А Махно був як Ісус Христос.

В Бога дядя Ваня не верил, но кошунствовать не собирався. Имел он в виду только способность Махно чудесным образом появляться со своими хлопцами, наносить удары и исчезать. Но Иван Андреич расвирепел:

— Да ты что? Думай, когда говоришь! Ісус Христос? Таких больше вообще не было. — Потом подумал и добавил: — Вот только, может, Ленин! В него стреляли, а он: «Не убий!» Вот только он, может... А ты какого-то бандита с ним сравнил... Думай, когда говоришь.

Конечно, Ленин, руководствующийся принципом «Не убий!», — факт мифологический.

Но Густав Александрович говорил не о Христе и не о Ленине, а о своих делах. Однако его слова заключали нечто, что буквально взорвало Ивана Андреевича. И самым неожиданным образом.

— Что? — взревел Иван Андреич. — «Незаконно»? Законы тебе подавай? Шустрый ты мужичишка, однако! (Слова «шустрый» и «мужичишка» совсем не вязались с солидностью и благообразием Густава Александровича и потому звучали уж совсем уничижительно.) Закона ты хочешь? А ты послушай. Два комсомольца у нас ночью напились и

подрались, и один другого убил — кулацкое добро поделить не могли. А меня за холку: «Ты подучил!» Подучил не подучил, а десять лет дали. А что такое десять лет? — Закон! Меня и в лагерь. Таперича десять лет отсидел — значить мне домой иттить? Нет, — говорят, — до особого распоряжения. А что такое особое распоряжение? — Закон! Таперича сижу я до особого распоряжения три года. И приходит мне распоряжение. Что — домой иттить? Да нет. В ссылку на три года. А что такое три года? — Закон! А таперича на днях придет еще распоряжение — оставить навечно! А что это будет? — Закон! Так что ж ты мне тут про закон талдычишь? Сидишь ты тут — и весь закон. А то — «незаконно»! Шустрый ты, как я погляжу, мужичишка — закон ему подавай! Ишь ты!..

Кстати, насчет оставления «навечно» Иван Андреич как в воду глядел — такое распоряжение насчет него вскоре пришло. Впрочем, он уже знал, что такие «распоряжения» на других к тому времени тоже приходили. Должен сказать, что меня все это сильно тревожило — показывало призрачность и моего срока. Но слава Богу, пронесло. Как выяснилось, я относился к другой категории — моя ссылка была приговором, а не особым распоряжением, и в тот момент это что-то значило. Могло и не значить. Темна вода во облацех.

Но тут меня занимала не реальность, а восприятие Ивана Андреевича. Ведь он вылил на ни в чем не повинного Густава Александровича всю свою накопившуюся ярость и отчаяние. А тот стоял под градом непонятных обвинений и выглядел совершенно потерянно — не мог понять, чем вызвал этот взрыв гнева.

Он ведь апеллировал не к закону, отсутствие которого вполне испытал на самом себе, а к тому, что формально именовалось законом. Играл по тем правилам, которые установили те, от кого он зависел. Эти правила допускали, а в каком-то смысле поощряли (интересами наибольшей производственной пользы) его воссоединение с семьей. Он на это и жал.

Ивана же Андреевича возмутила сама апелляция к закону после всего, что они оба пережили и видели. Настолько, что он в тот момент ненавидел Густава Александровича больше, чем тех, кто на самом деле испортил ему жизнь. Те были далеко, как бы испарились за словами и формулами,

а Густав Александрович тут, рядом, уповал на закон и надеялся при его помощи возвратиться к семье.

А сколько лет не видел семьи Иван Андреич? И апеллировать ему было не к чему — почему-то в Алтайском крае ссыльных не размещали, и «законных» оснований проситься туда у него не было. Да и оставалась ли у него там или где-либо еще семья? Жизнь этого работающего и вполне приспособленного к труду человека была разбита вдребезги.

Никогда не устану повторять, что вина за это никогда не будет снята с коммунистической партии, в том числе и с «настоящих коммунистов» — за то, что допустили это. Но все равно эта стихийная переадресовка ненависти с виновных на одного из тех, кто из-за них попал в беду, — страшна и опасна. Она может предопределить многое в судьбе страны.

Такие разговоры бывали в сапожной мастерской.

Иногда у нас случались собрания. Председатель артели, рябой, невысокий, хитрый мужик, имел обыкновение выражаться так:

— Некоторые что-то такое делают (допустим, прогуливают или опаздывают) и думают, что никто не знает. Напрасно. Об этом знает председатель. И в том числе правление артели.

Эта оговорка характеризует не столько положение дел в артели, сколько психологию властей вообще.

Появлялся он не очень часто. Собственно, основной круг его забот был вне помещения артели. Он, в частности, обеспечивал мастерскую работой, то есть материалом. Ведь в мастерской не столько ремонтировали обувь, сколько шили ее. Конечно, в значительной степени из материала «давальцев», но таких не хватало. И он отправлялся за кожей в Новосибирск. Своими подвигами там он (не на собраниях) хвастался примерно так:

— Да, съездил вот... Достал я кожи... Думаешь, просто? Там такие евреи сидят, что ого-го! Ухо надо держать остро.

Думаю, что евреи (и неевреи — евреев он употреблял для мифологического устрашения) там, в облпромкоопсоюзе, действительно сидели именно такие — других бы не держали, но он и сам был не промах. К тому же обе стороны в этих его новосибирских «диалогах», безусловно, были заинтересованы друг в друге, а ворон ворону глаз не выклюет. Сапожники внимали намекам на его подвиги равнодушно — такая у него работа.

Произвела на меня большое впечатление встреча нашего коллектива с директором районного отделения Госбанка. Человек явно толковый и знающий. Сапожники жаловались, что им нерегулярно платят зарплату (сегодняшнюю регулярную невыплату тогда никто и представить бы не мог, но задержки случались и тогда). Отвечал он на это очень толково. Обещал, что, конечно, постарается помочь чем будет можно, но предупреждал, что это будет непросто. И вот как он это объяснял:

— Поймите, товарищи, вы независимые производители, добровольно объединившиеся в артель. Вы не имеете никакого отношения к государству, и оно за вас не отвечает. Есть у вас на счету деньги, вы получаете зарплату, а если нет — никто вам не обязан.

Логичный был товарищ и эрудированный. И знал правила игры. По которым полагалось не знать, что независимых производственных объединений у нас нет и не должно быть. И что не может существовать (разумеется, открыто) выручка, не проходящая через Госбанк, он тоже знал. Как будто сапожники объединялись в артель потому, что у себя на дому были бы не в состоянии заработать себе «детिशкам на молочишко» безо всякого Госбанка.

И приходит мне в голову, что такая форма речи была выработана в беседах не с сапожниками (такая артель во всем районе была одна), а с колхозниками. Они ведь тоже были отдельными производителями, добровольно объединившимися в артель, и тоже поэтому должны были отвечать сами за себя, не рассчитывая на государство. Ибо и без того много у него, у бедного, было нахлебников. Правда, если речь не об артели, а о колхозах, государство, не отвечая, тем не менее определяло, когда и как пахать, что сеять, и вообще весь круг работ. С промкооперацией все-таки было легче.

Я не верю, что этот банковский работник не знал истинного положения вещей, но не тороплюсь обвинить его в личной подлости. Человек он был явно неглупый, но, как и все вокруг, постепенно привык к тому, что Оруэлл называл двоемыслием. Не думаю, что этот банковский работник понимал всю порочность системы, к которой привык (другой он, как все мы, не знал), но в то же время ясно видел, что происходит. Но я ему благодарен — из-за его способности формулировать я яснее понял сущность колхозной системы, хоть говорил он не о ней.

Сапожникам он скорее понравился. Несмотря на их отъединенность от государства (а не государства от них?), он обещал, что постарается им помочь (и потом действительно помог). Да и вообще директор райконторы Госбанка хоть тоже был начальством, но приходил по делу и говорил о деле — поэтому его слушали и с ним общались. Но однажды по какому-то личному делу зашел другой представитель Системы — третий секретарь райкома, — для всех нас начальство почти поднебесное. Он принес сапоги, которые не вовремя прохудились, пришел как частный человек. И был принят вполне прилично. Коля, внимательно осматривая сапог, говорил что-то при этом обстоятельно и серьезно, но вокруг него мгновенно выросла незримая стена отчуждения. Обычно говорливая, даже шумная мастерская погрузилась в гробовое молчание. Сапожники целиком ушли в работу. Сам секретарь, по моему ощущению, человек вовсе не плохой и не злой, чувствовал это и неуклюжими шутками пытался пробить эту стену. Тщетно. Сапожники вежливо подхмыкивали, но целиком были заняты тем, что внимательно вбивали гвозди в подметки.

Что это было? Проявление враждебности к власти или партии? Да нет. Они такой враждебности не испытывали. Нет, было это не враждебностью — просто отчуждением. Просто этот человек жил какой-то другой, не очень им, впрочем, интересной, непонятной жизнью, не имевшей ничего общего с их жизнью, руководствовался другими правилами, и разговаривать с ним им было не о чем. В такое положение он был поставлен. Сапожники вовсе не оспаривали этого положения, они его скорей принимали. Но формой этого притяния было отчуждение.

Должен сказать, что году в 1955-м в вагоне электрички Москва—Раменское я сам попал в такое положение. И тоже из-за своей «должности». Разговорился я с группой молодых рабочих Раменской мануфактуры, разговор был откровенный. Но когда узнали, что я писатель (что в их глазах было равнозначно «пишущий в газеты», то есть представитель начальства), как они тут же забили отбой:

— Да вы его не слушайте! Все это так... обывательские разговоры... Да ничего этого нет.

И преодолеть стену этого внезапно возникшего отчуждения я уже так и не смог. Это смешно, они просто непра-



вильно истолковали мою «должность», но там отчуждение относилось именно к должности. Зря те писатели и журналисты, которым приходилось бывать в «глубинке», были убеждены, что проникали в местную жизнь. Она была от них — за семью печатями. Всех нас считали представителями начальства и распространяли на нас свое отчуждение от него. В Чумакове я этим отчуждением окружен не был. Передо мной там все было открыто (как в Симу на заводе), и я благодарен за это судьбе.

Особого разговора заслуживает уже упоминавшийся дядя Ваня Кайдык — личность во многих отношениях замечательная. Прежде всего он был человек стихийно талантливым, на все руки мастер. Родом он был откуда-то с Донбасса, где принял деятельное участие в Гражданской войне. За это ли, за другое ли или просто так он получил в «тридцать седьмом» свой «законный червонец». Отсидев этот срок, он прибыл сюда тем же этапом, что Б.Г. И тут же устроился на работу — налаживать движок (кажется, числясь при этом за райкомхозом). До него в райцентре электричества не было, хотя столбы с проводами были установлены. Тогда-то и произошел эпизод с вышедшей за него замуж «знатной дояркой» и ее партбилетом. Работать на движке он не стал, а ушел в кузнецы. Однако и там его душа не нашла покоя. И уже при мне он перешел в артель «Заря», стал сапожничать. Все эти работы он знал досконально. О его тогдашнем отношении к труду можно судить по такому разговору. В мастерскую почти одновременно с ним пришел другой Иван — поступил в ученики и, в отличие от меня, стал делать успехи. И вот однажды, поглядев на то, что делает этот маленький Иван, большой Иван (Кайдык) эпически неопровержимо прознес:

— А ты, Иван, м...к.

— Это почему еще? — тут же вскипел тот. Выросший на картошке, маленький, круглый («кругом шашнадцать»), он был очень самолюбив.

— А потому, что ты еще хорошо работать не умеешь, а уже работаешь хреново (выражение мной смягчено. — *Н.К.*)

— А ты, что ли, хорошо?

— Хреново, — столь же эпически спокойно отозвался Большой, не отрываясь от работы.

— Так чего ж ты?

— А я могу хорошо, — так же равнодушно констатировал дядя Ваня, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся.

— А толку что?

— А то, что если надо будет сделать хорошо — а бывает так, что надо, — я сделаю, а ты — тык-мык, и — ничего.

Маленькому такая перспектива не понравилась, и он задумался.

Но это было не только отношение к труду, это вытекало из его общего отношения к советской действительности. Однажды райцентр потрясла новость. Присланные из Новосибирска молодые специалисты, работники культуры — баянист и, кажется, художественный руководитель — сбегали, украв из клуба баян и другие инструменты — все, что смогли унести. Событие обсуждалось везде, в том числе в нашей мастерской. В основном в плане: поймают — не поймают. Высказал свое отношение к делу дядя Ваня. Оно было неожиданным:

— А я не хочу, чтоб их поймали — пусть гуляют.

— Да ты что? Они же украли!

— Ну и что?

— Как — «ну и что?» — украли ведь!

— Не у меня ж они украли.

— Вот ты какой!

— Да, такой. Вот если б они у меня украли, — он оглядел ошарашенную аудиторию, — или, допустим, у тебя, все равно у кого, но у человека — я б его сам этими руками, — он показал свой кулак, действительно весьма внушительный. — А там... Там кладезь неисчерпаемый.

«Своими руками» — это не для красного словца. Дядя Ваня рассказывал мне — не по этому поводу, а просто так, что однажды в лагере, получив посылку от жены, он взял ее под мышку и понес к себе в барак. И тут на него напал урка, специально дежуривший у посылочной кладовой, подбежал и выбил эту посылку из-под рук. Дядя Ваня мгновенно поднял кулак и опустил на урочью голову. После чего поднял посылку и понес ее дальше, а урка, оглушенный ударом, остался приходить в себя, лежа на асфальте. Случалось ему заступаться и за других — так что и это не фраза.

В сущности, в парадоксальной форме и в неподходящий момент он выразил всенародное отношение к собственности: посягать на чью-то личную собственность отвратитель-

но, а на государственную или социалистическую — ничего страшного. Они охранялись всей мощью государства, но не народной моралью.

Думаю, что ограбленный народ имел право на такое отношение, но оно все равно было развращающим. И такое отношение, и приобретенные при этом навыки не проходят автоматически вместе с породившими их обстоятельствами. Оно порождает остаточные деформации в психике. А уж в данном конкретном случае дядя Ваня и совсем уж был неправ. Эти выпускники какого-то клубного техникума или техникума культуры обокрали не начальство, не кладезь неисчерпаемый, а непосредственно тех, кто хотел учиться играть на этих инструментах. В кои-то веки в наш заштатный клуб недавно прислали эти инструменты чуть ли не вместе со «специалистами» — жди теперь, когда прийдут еще раз. Все это для этих «специалистов» было ничто по сравнению с выпивкой.

«Примат общественного над личным» приводил к полному забвению «общественного», то есть других людей вместе с их «личным». В наше время, на исходе века, этот посев дает еще более впечатляющие всходы. Вопрос о том, почему культура, которой они обучались в техникуме, смыслом и сутью обошла их сознание, я оставляю сейчас в стороне. Видимо, в их случае она свелась только к усвоению технических приемов. Это теперь часто бывает. К сожалению, слишком часто.

Однако не было у этих «культуртрегеров» не только культуры личности, но и элементарной предусмотрительности. Подумали бы, куда они смогут деться с краденными инструментами? Где смогут поселиться и работать? Ведь на них был объявлен розыск, и пользоваться своими документами они больше не могли. А как жить без работы и прописки? Уголовники жили, но у них были свои «хазы» (чтоб укрыться хотя бы на первое время), свои фабрики фиктивных документов, свои связи. Да и потом они не нуждались в работе. Но эти ведь пока не были уголовниками. Стали потом? Тоже перспектива нерадостная. Так что жалость к этим сбежавшим культуртрегерам я еще понять могу, но для сочувствия им не было никаких оснований.

Еще раз выразил дядя Ваня свое отношение к действительности в напутствии кому-то, кто собирался в отпуск

поехать куда-то — не то в Красноярск, не то еще дальше на восток от нас:

— А ты, смотри, не увлекайся, а то в Иркутск заедешь. А там и во Владивосток попадешь. А там, смотри — уже и до Колымы рукой подать. Смотри не попади. Но это все еще ничего. Самое страшное, если еще дальше поедешь — тогда конец! — в Америку попадешь. Совсем несчастным будешь. Будешь получать пятнадцать долларов в день, машину купишь, двухэтажный дом... Ну я ж говорю — конец.

Такие перспективы из чумаковского прозябания действительно выглядели «страшно». Точнее, неправдоподобно. Но за это и погореть можно было — «восхваление Америки». Однако он говорил, и, видимо, никто на него не донес. Конечно, как я говорил, в деревне мало понимали, что можно говорить, а чего нет, но думаю, что вообще желающих донести в мастерской не было.

Почему дядю Ваню посадили в тридцать седьмом, я то ли забыл, то ли вообще не спрашивал, хотя отношения у нас были дружеские. И если не спросил, то не из деликатности — она тут была ни к чему, — а просто к слову не пришлось. И если забыл, то тоже из-за несущественности этого вопроса. Попался на глаза — вот и посадили, а в чем обвинили — абсолютно неважно. А на глаза попался или из-за остроты языка, или, скорей, за то, что участвовал в Гражданской войне.

А в Гражданской войне он участвовал красочно. Однажды он диктовал мне свою автобиографию. Часть ее, посвященная Гражданской войне, поражала своей калейдоскопической пестротой. Он помнил названия всех отрядов и частей, в которых воевал. Большой частью эти отряды бывали красными. Но не всегда, хотя воевал он всегда против белых. Общим у этих отрядов было другое — белые их один за другим — независимо от «окраски» — разбивали. Впрочем, этот калейдоскоп «окрасок» — дело для тогдашнего Юга обычное. Когда белые выбивали красных из Новороссии, остатки разбитых частей и отрядов подхватывал кто угодно, а чаще всего — Махно, который вел против белых партизанскую войну. От опыта пребывания в его отрядах и родилась та фраза, которая так возмутила Ивана Андреича.

Какая нелегкая несла этого толкового и умелого парня в эту стихию, я не знаю. Это сегодняшней мой вопрос — тогда он мне в голову не приходил, ибо, несмотря на «про-

светление», я считал такой выбор естественным. Впрочем, большой страсти переделывать человечество (или тоски от того, что это не вышло) я в дяде Ване не заметил. Следов склонности к грабежу — тоже. Он явно был порядочным человеком, всегда рассчитывавшим на свою невероятную силу, смекалку и умение работать. Пристал он к этой «борьбе», видимо, только по младости. Захотелось участвовать в борьбе за установление всеобщей справедливости. А заодно и погулять. Теперь этого не было и в помине. Дядя Ваня мне очень нравился, и я ему вполне и во всем доверял. Отношения с ним у меня оставались и после моего ухода. Впрочем, с другими тоже.

А уйти пришлось. Потому что я был балластом, зря занимал место. Ведь порядок был такой: когда ученик начинал осваиваться, он первое время — конечно, под присмотром мастера — работал на него. Это была последняя стадия ученичества и как бы плата за учебу. От меня такой платы было не дожидаться. Это, смущаясь и краснея, объяснил мне мой учитель Гриша, и я ушел, сохранив навсегда самые теплые воспоминания и о Грише, и о мастерской в целом.

— Видишь, ничего у тебя не получается. А мне это невыгодно. Я б за это время кого-нибудь обучил, и он бы некоторое время на меня работал.

С работой в артели «Заря» связано и мое выполнение дорожной повинности. До этого я, честно говоря, и не знал, что такие бывают. Видимо, такие повинности бывали всегда. Сельское общество выделяло средства или людей для весенней починки дорог, которые за зиму сильно портились. В Чумакове это еще было связано с разбиранием моста через Омь перед паводком и лесосплавом и восстановлением моста после того, как плоты проходили и вода спадала. В наше время сельского общества не было, и районные учреждения, а также местные колхозы по разнарядке сельсовета выделяли для этого мероприятия людей. Артель «Заря» выделила на разборку моста на один день меня, справедливо считая, что мое отсутствие на рабочем месте будет для артели наиболее безболезненно. Именно на разборку моста, на остальные дорожные работы люди мобилизовывались как-то иначе. Должен сказать, что мое участие в разборке моста было хоть не максимально полезным, но не зряшным. Я, конечно, сам непосредственно мост не разбирал. Это делали более квалифицированные люди. Они же

после паводка и собирали его, но на эту «повинность» меня и таких как я не мобилизовывали. Но я вместе с другими исправно отгаскивал от места работ и складывал в штабеля балки и стесанные бревна. Работа была нелегкая, но вполне мне под силу. Если бы попытался таким способом зарабатывать деньги, прогорел бы, как в промкомбинате, но работа была разовой, и я в ней был полезен.

Руководил работами председатель сельсовета Себякин, здоровый и крепкий мужик. Я уже здесь упоминал о нем. Это он испугался терроризма Бори и Юры. О нем я слышал еще многое — забавное и не очень.

Самым красочным был следующий эпизод. Собственно не эпизод, а монолог. Однажды поздним вечером этот представитель советской власти шел пьяный, точнее выпивши, по деревенской улице и вслух, даже очень громко рассуждал о своем и общем житье-бытье. Рассуждения его носили характер лирической исповеди и сводились к недовольству той властью, которую он здесь представлял.

— Туды твою мать! — восклицал он на всю улицу. — Советская власть называется! Твою мать! Двести пятьдесят рублей председателю сельсовета платит. Таковую власть к хренам собачьим надо. Колхозы понаделали, а теперь живи! Счастливая жизнь, твою мать. Вся деревня на тебя волком смотрит — за такое счастье... За заем им отвечай, твою мать... Никто платить не хочет. А кто захочет? Ведь свои кровные (в деревне с подписавшихся на заем деньги не вычитали постепенно по частям, а изымали целиком в момент подписки — вот и торговались). Недоимщиков, говорят, у тебя много — прижать надо. Да прижимай! Выжимай из козла молоко! Двести пятьдесят рублей, туды твою мать! Все липа. Говорят, что вот начнется война, и мы Америку в два счета распатроним! Это еще вопрос, кто кого в два счета... Двести пятьдесят рублей, твою мать!

Двести пятьдесят рублей было действительно очень мало, мне родные присылали триста. Потому что жили в городе. Но вопрос в другом — на чем же и на ком держалась эта фантастическая власть? На таких — тоже несчастных — себякиных или непосредственно на дьяволе?

Сейчас он тоже был при исполнении — руководил. Руководство его заключалось в том, что он полулежал чуть в сторонке на пригорке и давал указания. Он вовсе не упивался своей начальственной возможностью руководить и не

работать — наоборот, он от этого страдал. «Сила-то по жилочкам так живчиком и переливалась». Но положение обязывало наблюдать с пригорка за тем, как это делаю, допустим, я. Я ничего особо неправильного не делал, но ведь он бы все это делал намного толковей, сноровистей и быстрее. Но положение не позволяло. И он страдал:

— Наум!.. Наум... твою мать! Правее держи, там лучше ляжет... Куда ж ты... твою мать...

Он вовсе не подгонял, а именно страдал. Потом, через много лет, в одном московском журнале у меня была опубликована статья «Все мы товарищи по несчастью». Я и теперь так думаю. К этим товарищам по несчастью я отношу и Себякина. Убежден, что если бы можно было всерьез крестьянствовать, он бы начальствовать не пошел. Конечно, он не был борцом за правду и разум, но ему тоже было в той обстановке не очень хорошо.

Так или иначе, попытка обрести ремесло провалилась, и я опять потерял работу. На которой я, правда, ничего не получал, но которая давала мне легальность перед МГБ. Больше для меня тут нигде никакой работы не было, только «физическая», на которую я не годился из-за грыжи. Некоторое время я не работал, но потом по настоянию МГБ, которое не могло мириться с таким беспорядком, лег в больницу на операцию, чтоб после нее стать «годным». Годным я стал, как увидит читатель, только на пару месяцев, но зато таким образом впервые столкнулся с положением в сельской медицине.

Нет, я не собираюсь поносить ни врачей, ни сестер, ни нянечек — они делали все, что могли. Не собираюсь я поносить и саму ее организацию — она мне представляется разумной. Судить о том, насколько были квалифицированы тамошние врачи, я некомпетентен. Во всяком случае, на моих глазах ничего худого или глупого они не делали. Главврачом больницы была, по-моему, жена заведующего райздравотделом, женщина энергичная, по профилю хирург. Сама она тем не менее операций не делала, видимо, не хватало опыта работы под квалифицированным руководством, но с удовольствием и интересом ассистировала приезжавшим из Новосибирска специалистам. Кстати, это централизованное медицинское обслуживание, когда вышестоящее медицинское учреждение более квалифицировано и опекает нижестоящие, я и признаю разумным. Осо-

бенно в масштабах громадной страны, с поневоле различным уровнем квалификации врачей и медицинского обслуживания. Конечно, если эта иерархия соответствует реальности. Судить о том, насколько это соответствие соблюдалось в конкретных, в том числе и в известных мне случаях, я тоже не берусь — некомпетентен. Судить по результатам соблазнительно, но неточно — не знаю, что было бы в противном случае, если б оно не соблюдалось. Но при этом я должен сказать, что положение сельской медицины — независимо от качества и отношения к делу врачей, сестер и организаторов — было жалким. Она лежала за задворками государственных забот.

Впрочем, это проступило не сразу. Общая бедность больницы утвари и одежды, конечно, бросалась в глаза, но казалась естественной — времена-то были послевоенные. Да это и вправду можно было пережить. То, что не было рентгена, было хуже — рентген существовал уже давно, — но об этом я не думал...

Однако лучше по порядку. Лег я в больницу летом (а может, и весной) девятьсот пятидесятого — дня за два-три до операции. К ней, кроме меня, были подготовлены еще два человека — молодой юноша из местных и пожилой кишиневский еврей из ссыльных — вероятно, тоже в прошлом мелкий предприниматель. Операции всем предстояли полостные, по-моему, у обоих моих сопалатников желудочные, и провести их должен был опытный хирург из Новосибирска — его и ждали. Было душно. Но отсутствие кондиционеров не ощущалось, ибо никто из нас не знал, что они бывают — с ними, наверное, и в Америке тогда еще было не густо. Разговоров на серьезные темы не было. В основном кишиневец развлекал нас балагурством на медицинские темы, юноша смеялся. Время шло.

Наконец приехал хирург. Он уверенно осмотрел нас и назначил операции на завтра. Операции прошли быстро и успешно. Он уверенно распоряжался и уверенно работал. Юноша быстро пошел на поправку. Кишиневский еврей тоже, я чуть медленней, ибо грыжа у меня была большая и сложная. Но когда хирург уезжал, все мы были в порядке. Неприятности (со всеми, кроме юноши, который скоро выписался) начались после его отъезда. Впрочем, у меня далеко не сразу, выписался я здоровым.



А у кишиневца дня через два неизвестно почему поднялась температура, и он месяца два жил на антибиотиках. Вообще начинал дышать на ладан. Никто не мог понять, в чем дело, и наконец его самолетом отправили в Новосибирск. Представляю, сколько писанины на это потребовалось — ссыльные не имели права на такие перемещения, — но отправили. Уже и перед этим предполагалось (рентгена то не было), что температура вызвана посторонним предметом, зашитым в полость во время операции. В Новосибирске выяснилось, что этим предметом была салфетка, вовремя не убранный сестрой или ассистентом. В оправдание мне рассказали, что такое случается, что иногда в полости остаются даже ножницы.

Все равно вина новосибирского специалиста несомненна — операцию делал он, и он перед зашиванием полости обязан был удостовериться, что в ней ничего постороннего не осталось. Он этого не сделал. Разумеется, никакого злого умысла тут не было, но преступная халатность была налицо. Будь это в Америке, никто бы его не стал объявлять «врачом-убийцей», но в несколько сот тысяч долларов это ему бы обошлось. Но саму эту операцию, не очень простую, он сделал верно. В Новосибирске кишиневцу сделали повторную операцию, салфетку извлекли, температура спала, и он вернулся домой, то есть к месту ссылки в Чумаково. Кстати, и это его «этапирование» в Новосибирск подтверждает мое положительное отношение к организации медицины.

Со мной было сложнее. В меня ничего не зашили, послеоперационное повышение температуры у меня быстро прошло, но когда через несколько месяцев я стал работать на пилораме, грыжа опять вышла из берегов — причем на этот раз она приобрела ужасающие размеры, в нее вышел весь кишечник. Тот же хирург из центра, когда ему ее представили, только покачал головой. Хорошо, что это происходило до «дела врачей». Ибо фамилия его была Нахманович, и ему бы не поздоровилось — несмотря на то что жертвами его националистической деятельности были тоже евреи. Да еще ссыльные. У вакханалий — своя логика и свои законы.

Полагаю все-таки, что в моем случае дело было не в халатности, а просто хирургу не хватило квалификации, он просто не смог разобраться, с какой именно грыжей он имеет дело. Это не значит, что он был вообще плохим хирургом, просто, видимо, случай требовал более аналити-

ческого подхода. Да не подумает читатель, что я горжусь сложностью своей грыжи и слабостью своей брюшины как доказательством деликатности моей натуры — ведь и это бывает. Видит Бог, мне это не свойственно — мне больше всегда импонировало «примитивное» здоровье. Да я и не знал, почему грыжа снова вышла. Узнал я это много позже, в Москве, во время повторной операции, году в шестидесятом.

Но в пятидесятом году грыжа моя так или иначе осталась при мне. И так наглядно выпирала, что однажды из-за этого меня в московском метро задержал милиционер. Это было в 1957 году во время фестиваля, когда милиции было предписано проявлять бдительность. Милиционер, сидевший в вагоне метро напротив меня, принял эту грыжу за бомбу в кармане. Пришлось идти с ним в отделение и проверяться. Потом он долго извинялся, удивлялся и чертыхался. Оперировал меня в Москве замечательный хирург Юрий Яковлевич Грицман в сороковой больнице возле ВДНХ. Хирургическое отделение этой больницы, которым заведовал Юрий Грицман, было базой Научно-экспериментального института хирургических инструментов. Он в течение нескольких часов распутывал то, что напутал Нахманович (а я пока лежал с разверстой полостью и питался кордиамином), но потом он все-таки понял, в чем дело, и тогда операция пошла быстро. А продолжалась она часов шесть — для грыжи немало. Результаты ее тоже были не совсем удачны — грыжа вскоре опять возобновилась. Стенки брюшины у меня действительно оказались слишком «деликатны», то есть слабы. Но оперирована была именно та грыжа, которая у меня была, оперирована правильно. Грыжа возобновилась, но в небольших размерах и, главное, не увеличивается — в течение последних сорока лет. Юра предлагал повторить операцию и на этот раз укрепить стенки искусственно, но мне как-то было недосуг. И так по сей день. Но все-таки я не ношу больше кишечник у колена. И Юре я благодарен.

Но я начал говорить о своем пребывании в больнице не в связи с медицинскими проблемами, в которых я профан, а в связи с положением сельской медицины. А оно было бедственным. И я испытал это на своей шкуре. В связи с мелочью, кальцексом — был тогда такой препарат — палочка из нескольких таблеток стоила две копейки (это и на

обертке значилось — «цена 2 коп.»). Считалось, что помогает он от простуды и даже, кажется, от гриппа. Не знаю, правда ли это. Но на меня он действовал. Его и теперь выпускают. Если его принять вовремя, в самом начале простуды, когда только начинает слегка першить в носу, развитие простуды прекращается, она сходит на нет. Кроме того, еще со времен своей первой операции я хорошо помнил, как больно кашлять после операции, когда швы еще свежие, как болезненно отдается этот кашель во всем теле. И вот начало у меня першить в носу то ли как раз в преддверии операции, то ли сразу после нее. Ничего не понимая в положении сельской медицины, я попросил кальцекс. Ответ, который я получил, меня поразил. Оказалось, что кальцекса в больнице нет. До сих пор я был убежден, что в больнице всегда есть полный набор лекарств, во всяком случае общеупотребительных.

Но оказалось, что не только нет, но и нельзя получить, и что на то есть серьезные причины. Оказалось, что больница исчерпала весь отпущенный ей лимит средств на лекарства за какой-то отчетный период (не то за квартал, не то за полугодие), и лекарства ей больше не положены. «То есть как «не положены»? Мне ведь нужно!» — не понял я. Тогда ведь не было сегодняшнего беспредела — т.е. раскрепощения и скрещения безграничных и безответственных эгоизмов. Тогда этим ведало, так сказать, всенародное государство, которое вроде так разумно организовало сельскую медицину. И вдруг такое — не положено. Как не положено? «А вот так!» — ответила медсестра. До нее не доходило, как можно не понимать такие простые вещи.

Оказалось, что этому всенародному централизованному государству, при всей его разумной системе здравоохранения, было решительно и централизованно наплевать на мои нужды и страдания. Демонстративно, спокойно и привычно наплевать. Одно дело организация здравоохранения в деревне, другое — конкретные сельские люди.

И я опять кашлял после операции, и опять содрогался от боли. А ведь могло понадобиться и что-нибудь более важное — касающееся уже не локального самочувствия (хрен с тобой — до свадьбы заживет), а жизни. Не исключено, что потом бы прислали самолет, но на лекарство, которое могло бы предотвратить необходимость его присылки, средств уже не было. Самолет шел по другой графе. Плановая у нас

была экономика, и средства на больных отпускались тоже по плану — что останется от чего-то более важного — не для жизни, для глобальных сталинских замыслов.

Естественно, можно было бы самому купить этот кальцекс за две копейки — но государство и здесь встало на сторону мучительства. Государственные интересы как раз в это время потребовали переучета в аптеке, а во время переучета облегчить страдания оперированного больного, отпустив ему на две копейки товара, не было никакой — ну совсем никакой! — возможности. Это было сродни святотатству. Так сталинское государство воспитывало своих работников, которые вместе с кооптированными наследниками его потом развалили.

### Обращение с дамой

В обстановке сталинщины люди тоже жили. Самые разные и по-разному, но — жили. Некоторые даже неплохо. Для этого требовалось только одно — забвение или отключение сознания. Но до конца это невозможно. Прибегали к уже упомянутому оруэлловскому двоемыслию. Грамотности особой для этого не требовалось, сталинщина проникала и в самые неграмотные, то есть элементарные области бытия. Даже в самых тупых душах это создавало известный дискомфорт. Ведь невзначай могло проявиться и «второе» мышление (как у Себякина), а это было и неудобно, и опасно. Поэтому хорошо себя чувствовали в этой обстановке только подлецы. Подлецов и сволочей из этих «всех», кого я считаю «товарищами по несчастью», конечно, следует исключить. Таковыми я считаю тех, кто получает удовольствие от причиненного ими зла и от возможности его причинить или кто действительно на всех уровнях своей жизни «к добру и злу постыдно равнодушен» и умеют видеть свою выгоду и в зле.

Мне рассказывали об одном стукаче, известном конферансье, который с удовольствием принимал заискивание и подобострастие коллег, знавших, что тот в любой момент может их погубить. Конечно, «эпоха войн и революций» с ее классовыми, а потом расовыми преследованиями разобщала и озлобляла людей, порождала патологии, но подлецами становились далеко не все преследуемые, и далеко не все подлецы были из преследуемых. Природа подлости мне

все равно не до конца понятна, но я знаю, что подлецы в жизни (всякой) были и есть. Просто бывают эпохи, особо им благоприятствующие, когда никто, кроме них, вообще не чувствует себя уютно. Сталинщина (в том числе и эпоха поздней сталинщины) была именно такой эпохой.

Впрочем, тогда и подлецы иногда ошибались в своих расчетах. Товарищ Сталин и подлецов только использовал, но ими не дорожил — при случае легко расплачивался и ими. (Дьявол, как известно, не испытывает благодарности к тем, кто ему помогает.) Допустим, если хотел показать, что он к какой-то сотворенной по его приказу подлости не имеет отношения.

Подлецы встречались и на моем жизненном пути. Но на страницах моих мемуаров они встречаются и будут встречаться редко. Не потому, что я наивен, а просто не в них дело. Подлости тогда совершали и неподлецы. Просто потому, что правила подлость.

Думаю, что к одной известной мне подлости был прямо или косвенно причастен и Себякин. Не от него она исходила, более того, все, что произошло, случилось бы при любом его поведении, но участие в ней ему пришлось принять. Просто по должности. Он был обязан эту подлость официально одобрить и завизировать, дать делу ход. Не собираюсь выдавать его за трагического правдолюбца. Нет, он был обыкновенным человеком того времени, когда страну организовано портили. Я утверждаю только одно — что сам по своей инициативе он бы в этой подлости не участвовал. Но случай, вдохновивший людей на эту подлость, произошел в ходе кампании по подписке на заем. Той самой кампании, необходимость участия в которой он — правда, в минуты от вдохновения — так лирически поносил. Но за кампанию эту отвечал сельсовет, а случай произошел в служебное время. А произошло вот что: одна женщина, притом ссыльная, следовательно меченая, демонстративно отказалась подписаться на заем. Не просто отказалась — вернуться от этой повинности норовили все, — а демонстративно. А это было ЧП.

О женщине, ставшей причиной этого ЧП, и о ее судьбе стоит рассказать подробней. Я ее неплохо знал. Она была тоже ссыльной и угол снимала вместе с Лидой Стасюк, о которой я уже рассказывал и которую я время от времени

навещал. По ней время тоже прокатилось всеми своими колесами. Страшнее, чем по Лиде или по мне.

Впрочем, и хозяин дома, где они были угловыми жильцами, тоже заслуживает внимания. Звали его Алексей Яковлевич Иванов. (Получается, что он полный тезка моего лубянского сокамерника, но, может, я путаю что-то в его имени-отчестве.) Примечателен он был хотя бы тем, что и в это время на фоне окружающей послевоенной нищеты он, не занимая никаких постов, был человеком вполне достаточным. Просто он был мастеровым человеком — плотником и столяром — и таким мастером, который даже в тех условиях мог обеспечить себе этот достаток своим трудом. Было ему лет сорок пять, и жил он вдвоем с женой, содержавшей дом в чистоте и опрятности. Ко мне он относился неплохо, но неодобрительно, поскольку я не мог пристать ни к какому делу, а человек без дела в его глазах был существом не совсем серьезным. Я же относился к нему с полным уважением и вспоминаю теперь уважительно. Даже его тогдашнее отношение ко мне имело основание — я ведь и сам относился к себе почти так же.

Советскую власть он презирал и ненавидел четко и сознательно, без романтики и аффектации — просто как нечто одновременно гадостное и несолидное. Естественно, все это выкладывалось непосредственно и своим жилищам, и мне — Впрочем, тут он не отличался от других чумаковцев: правда, я думаю, что он нам доверял. Пиком выражения его отношения к власти был день «всенародного праздника» — семидесятилетия И.В.Сталина. Впрочем, праздник этот сам запросился на выражение его отношения к себе, поскольку пришелся на воскресенье.

Алексей Яковлевич был человек в принципе непьющий. Но по воскресеньям жена к обеду подавала ему четвертинку, и он ее ради праздника выкушивал. Это был заведенный ритуал. Но ввиду совпадения данного воскресенья со всенародным праздником он четвертинку, причитающуюся ему на 21 декабря 1949 года, отменил и перенес на понедельник.

— Чтоб этот зас...ец не подумал, что я за него пью, — объяснил он своим жилищам это нарушение ритуала.

Вот у такого человека жила вместе с Лидой Стасюк та женщина, которую я хорошо помню. Да, забыть ее было бы

мудрено — хотя бы из-за ее биографии. Но я начисто забыл, как ее звали: и имя, и отчество, и фамилию.

Была она штучкой вовсе не столичной, родилась в Кургане, в служилой дворянской семье. Отец ее был, кажется, управляющим в местном отделении Госбанка и умер до революции. Мать ее я видел, когда она приезжала к дочери. Это была милая провинциальная интеллигентная старушка, сильно страдавшая из-за дочери и так и светившаяся добротой и порядочностью. Дочь ее тоже была незлой и вполне порядочной, но ненависть ее к «этой хамской власти» была оголтелой, хотя она была дамой, скорее, декадентской, чем, если использовать современное выражение, «политизированной». Так сложилась ее судьба. Прежде всего женская. Повзрослела, заневестилась она как раз к Гражданской войне и сделала блестящую для провинциальной, хотя и красивой барышни партию — вышла замуж за гвардейского офицера. Но гвардии уже не было, была революция — она-то и забросила этого офицера в их негвардейские места. В это время он уже был или чуть позже стал офицером колчаковским. Она жила или бывала с ним в колчаковской столице — Омске, о Колчаке отзывалась восторженно, но по-институтски — «высокий, стройный, с прекрасными серыми глазами». Потом началось отступление. Сначала оно проходило почти празднично — офицеры с семьями совершали его в фэзтонах с замечательными серыми в яблоках лошадьми. Но постепенно тучи сгущались, полк таял, и офицеры с семьями мечтали уже только об одном — сдаться. Но только не партизанам, которыми кишели окружные леса, а какой-нибудь регулярной части Красной Армии. Но случилось худшее. Однажды они получили записку их полковника, ехавшего с семьей несколько впереди других, в которой значилось примерно следующее: «Господа, езжайте сюда (называлось место), здесь регулярные войска. Отношение самое лучшее». Они и двинулись к указанному месту. Но при подходе к нему на них бросились мужики с берданками. И в секунду раскурочили их имущество, увели серых в яблоках лошадей, сняли колеса у фэзтонов (сами фэзтоны им были ни к чему) и вообще все, что можно. Пленные узнали, что это партизанский полк с ничего хорошего им не сулящим названием «Красные орлы», — тот самый, которым командовал будущий полковник Львов-Иванов, который в «гремящие сороковые»

был начальником военной кафедры и секретарем партбюро нашего института. Его подчиненные настолько были заняты этой «реквизицией», что пленных не тронули — только заперли в каком-то амбаре, где уже находился полковник с семьей. Полковник на коленях просил прощения:

— Простите меня, господа, за эту записку, но они сказали, что убьют детей, если я ее не напишу.

Будучи напичкан революционным максимализмом, а также по младости и отсутствию семьи я, услышав этот рассказ, в глубине души презирал полковника. Как он мог — ведь у других тоже были жены и дети! Но сегодня я просто не знаю, что должен был сделать полковник. Человека нельзя так искушать, ставить его перед таким выбором. Кстати, мне кажется, что придумали эту «операцию» не мужики. Те бы, если бы распоясались, просто перебили бы всю семью. Нет, эту «революционную хитрость» с запиской, скорее всего, придумал какой-нибудь «опролетарившийся» левый интеллигент, верный своему максимализму.

Аналогичный случай произошел в 1936 году в Испании, в Толедо. Франкисты, как и везде, по сигналу «Над всей Испанией безоблачное небо» подняли мятеж и в этом городе, но, потерпев поражение, заперлись в крепости «Аль-касар», где выдержали двухмесячную осаду и дождались своих. Но в один из первых часов осады, когда еще не была нарушена телефонная связь с городом, в кабинете коменданта крепости зазвонил телефон. Комендант снял трубку и услышал голос пятнадцатилетнего сына:

— Папа, я звоню тебе из штаба милиции. Они говорят, что убьют меня, если вы не сдадитесь.

Как видите, борцы за всеобщий рай везде не брезгают инфернальностью.

Правда, реакция коменданта была иной, чем у полковника.

— Что ж, мой сын, — сказал он, — придется тебе вручить свою душу Богу.

Сравнивать и морализировать тут не стоит. Комендант командовал боевой частью, которая просто бы не подчинилась приказу сдать, да и вообще это было бы изменой воинскому долгу. А семьи в фазтонах, только и думавшие о сдаче, уже воинской частью не были. И все-таки не хотел бы я оказаться в положении этого полковника. И того коменданта — тоже.



На следующий день подошли регулярные войска. Явился какой-то вежливый командир или комиссар, поговорил с ними, после чего женщин и детей отпустили. А мужа своего она больше не видела.

После этого она еще два раза выходила замуж — один раз за анархиста (это после гвардейца-колчаковца!), а второй — за беспартийного бухгалтера. Всего у нее было три мужа. Люди это были разные, разных взглядов, темпераментов и политического поведения. Но конец у них был один — все они оказались неудобны, и их расстреляли.

Не миновала лагеря и она. Но теперь ее взяли с воли, из того же Кургана, где она жила и после лагеря. Была она несколько экзальтированной, в косметике и одежде следовала стилю какой-то старомодной, «декадентской» пикантности, хотя в соответствующих кругах не вращалась. Любила употреблять уменьшительные «детские» формы слов («мяско»), да и вообще в чем-то была инфантильной. Может быть, потому, что ей почти не пришлось жить взрослой жизнью на воле. Но была вполне порядочной и ни в чем не желала кривить душой. Пока это происходило среди нас и Алексея Яковлевича — все было в порядке. Но однажды к ней — причем на улице — подошли комсомольские активисты и предложили подписаться на заем. Тут настало ей и «кончение». Ибо и им она ответила в своей манере:

— Ну вот еще! Буду я еще подписываться на ВАШ заем! Не хочу!

И эти то ли ублюдки, то ли идиоты — я при этом не присутствовал и не знаю, кто персонально в этом участвовал — составили акт об этом антисоветском заявлении. И представили его в инстанции. Тут, наверное, и вошел в это действие Себякин, завизировав эту бумагу. Как говорится, делу был дан законный ход. Теперь уже спасти даму не мог никто, если не хотел попасть в покровители враждебных элементов.

Поразительное дело, я знал многих, но никого из этих ублюдков не знал. Только однажды один приходил к моим хозяевам проверять правильность обложения налогами. И для порядка спросил меня, есть ли у меня скот. Я ответил шутливо:

— Только кот.

— А вы не шутите! — угрожающе зарычал молодой активист и чиновник. Поразительное дело — жил в деревне

больше двух лет, а идиотов видел только среди таких. Генерация, что ли, такая была. Не она ли теперь (март 1999-го) берет реванш?

Не помню, вызывали ли нашу приятельницу по поводу ее прегрешения в наш райотдел — если и вызывали, то она наверняка вела себя так же. Но скоро ее просто арестовали и увезли в Новосибирск — на следствие. Туда же потом вызвали в качестве свидетелей Алексея Яковлевича и Лиду. Только Алексей Яковлевич поехал сам, а Лиду, не имевшую права самостоятельно передвигаться, повез капитан Кошелев, видимо, договорившись о том, чтобы допрос по времени совпал с каким-то их областным совещанием. Лида рассказывала, что в поезде капитан водил ее с собой в вагон-ресторан — не оставлять же без присмотра. Там он встречал коллег из других районов, те расшаркивались перед дамой, но, узнав, что она из «прокаженных», сразу меняли лицо на отчужденное и переставали ее замечать. Обращение с дамой, скажем прямо, недостойное. Но отсутствие достоинства тогда было свойственно не только работникам этого ведомства. Правда, призванного и следить, чтоб достоинства не было ни в ком.

Я понимаю чувства нашей приятельницы и ее нежелание их сдерживать. Но думаю, что все же изливать их на активистов не стоило. Не стоило из-за такой чепухи, как заем (на который она и не должна была подписываться, поскольку не имела заработков — просто так и надо было сказать), отправляться в лагерь и подвергать риску других. Нас, слава Богу, чаша сия миновала, хотя и мы с ней общались. Ограничились «домашними». А Лиде пришлось повертеться — она боялась ухудшить положение своей экстравагантной приятельницы и не знала, что та им наговорила. Впрочем, та была порядочным человеком и в отношении других вела себя осторожно. Но тяжелей всех пришлось Алексею Яковлевичу. Лида как-никак была старой лагерницей, следовательно, человеком стреляным. А вот на него они там нагнали страху! Вроде он от этой власти ничего хорошего и не ждал, но все же он был солидным человеком и не привык, чтоб на него орали и ему грозили — вообще, чтобы из него выколачивали что-то. Он ничего плохого не сказал, но был потрясен — такого он себе представить не мог.

— Ну, Лидца! — только повторял он, вернувшись. — Ну и ну!..

А ведь через это и еще более страшное прошли миллионы. Ваня Смородин и половины того не думал и не говорил, что Алексей Яковлевич, но привык. Так всю страну приучили... И теперь вопрос стоит жестко — разучится она или погибнет?

## *Что нам стоит дом построить*

Строительством дома и моим недолгим проживанием в нем завершается мое пребывание в Чумакове. Само по себе это строительство особого интереса для читателя этой книги не представляет. Но, как всегда, представляют интерес люди и человеческие отношения, возникавшие в связи с этим. Представляет интерес и сама идея этого строительства — с чего она вдруг родилась у таких нехозяйственных людей, как мы.

А причины были. Прежде всего это время тогда для нас тянулось долго, а перспективы были туманными. Мы с друзьями понимали тогда в происходящем больше многих, но факт остается фактом — мы от них ничего не ждали. И поэтому всем нам казалось, что мы здесь надолго, если не навсегда. И мне тоже, несмотря на короткий срок, — кто мог полагаться на обязательства сталинского государства перед частными гражданами? Между тем дом давал хоть какую-то защиту — конечно, не от государства, но от положения, в которое оно нас поставило. Давал то место, где хотя бы можно было в случае полного крушения «положить зубы на полку» — в общем, крышу над головой. Во всех случаях, кроме нового ареста или ужесточения репрессий (допустим, внезапного переселения в еще более «безопасную для государства» местность). Но думать об этом при решении жизненных вопросов было все равно, что японцам, затевая новый бизнес, думать о цунами, опасность которых тоже существует там всегда. Много б они там нарасцветали. Правда, от цунами, поскольку работает служба предупреждения, можно хотя бы увернуться, убежать, а нам бежать было некуда. Впрочем, я сейчас говорю не об угрозе жизни, а об угрозе имуществу, созданию материальных ценностей.

Первой мыслью о строительстве пришла в голову Б.Г. Дома строили многие ссыльные. В основном это были люди рука-

стые. Но решили и мы. Нужный для этого основной капитал был составлен неравномерно. Главный взнос поступил по почте от сестры Б.Г., что-то прислали мои родители, кроме того, мы продавали все яблоки, которые нам присылали из дому, а нам их присылали немало.

Маленькое отступление о яблоках. Оно, скорее, относится к началу ссылки, но лучше поздно, чем никогда — хорошо, что оно пришлось к слову. Что такое были яблоки в сибирской глуши? Думаю, что «до колхозов», когда товары поставляли купцы, гонявшиеся за барышом, яблоки сюда привозили. Здесь ведь и покупательная способность не была низкой. Но советская система распределения, которая такой корысти не имела, а другой тоже не выработала, доставлять сюда яблоки прекратила. Люди, конечно, еще помнили, что это такое, но это стало чем-то вроде сказки. И когда (задолго до нашего строительства и торговли) я в первый раз получил из дому яблоки, мне очень захотелось угостить ими моих местных знакомых, дать хоть по одному каждому. И когда я вносил это яблоко в дом — а яблоки были большие и красивые, — у меня в самом деле создавалось ощущение, что я, как это ни банально, вношу в дом маленькое солнце — лица людей мгновенно освещались улыбками, как отсветами этого яблока, словно человек убеждался в существовании света, о чем уже почти забыл. А вот — светит... Помню счастливо улыбающуюся Федосью Максимовну при виде этого яблока — мне до сих пор приятно, что я внес в ее дом эту радость. Но с определенного момента мы яблоки есть и дарить перестали. Все шло на продажу — мы строили дом.

Понимающие люди посоветовали строить его из самана и объяснили, что это такое. Это большие кирпичи из необожженной глины, перемешанной с навозом или соломой. Производить же этот кирпич надо было нам самим. Ну что ж, самим так самим. Заказали формы, и началась работа. Нам выделили участок на новой улице Северной, застраиваемой в основном ссыльными. И примерно в километре севернее этого участка мы устроили нечто вроде маленького разреза, а в добытую при этом глину добавляли навоз или солому (где брали и как привозили — не помню), а также воду (приносимую на коромысле с речки) и подолгу месили это все ногами. И только когда замес достигал кондиции, начинали лепить саманные кирпичи. Деревянные

формы плотно набивались этой глиняной смесью и вываливались на траву рядом с разрезом — сохнуть под солнцем. Погода нам благоприятствовала.

Конечно, одни бы мы с этой простой работой не справились, ибо не знали ее. Например, как бы мы самостоятельно определяли, сколько, чего и когда надо добавлять к глине и достиг ли замес кондиции? Но нами руководила жена Паши Цветкова — он как раз перед этим женился, — милая, красивая молодая женщина местного происхождения, но совершенно не деревенского вида. Как я уже говорил, такие здесь встречались. Работала она ловко, легко и красиво, была не только стройной и обаятельной, но и крепкой. Все у нее спорилось. И культурно-образовательный уровень у нее был выше, чем у большинства ее местных сверстниц. Иметь с ней дело было приятно.

Но была у этой гармонической женщины одна странность, о которой можно было бы и не говорить, ибо на наших отношениях она не сказывалась. Мне кажется, что она представляет интерес не личный, а историко-психологический. Она не боялась никакой работы, но боялась, что ее могут увидеть за таким неподобающим делом — физической работой. Дело в том, что до недавнего времени она работала воспитательницей в детдоме, и, как теперь говорят, «потеря статуса», мнимая, но наглядная, была для нее невыносима. Конечно, беспокоилась она зря — она не теряла статуса даже в самом пошлом смысле этого слова. Она стала женой хорошего, надежного, уважаемого и здесь человека (завхоз больницы, а тем более завхоз крупнейшего в районе строительства — персона) и сейчас помогала его друзьям, без нее беспомощным. Но со стороны могли подумать, что она теперь вынуждена таким способом зарабатывать себе на жизнь.

Можно вразумляюще сказать, что и этого не надо было стесняться. И привести в пример нас — мы-то этого не стеснялись. Мы даже были довольны, что с трудом справляемся. А она справлялась легко, но — стеснялась. Недостойно!

Но так ни говорить, ни думать не стоит. Ибо мы были ссыльные, подневольные, люди с отнятым, а не потерянным статусом — наше все равно оставалось при нас. А у нее была другая стартовая площадка, и ей было страшно: и могло показаться, что она потерпела крушение на взлете. Что делать! Она росла в мире мелких престижей, связан-

ных с мелкими привилегиями, в мире, где «рабоче-служащий» гордился, что он не бесправный колхозник, где реализация образования и само представление о культуре и культурности тоже были связаны с представлением о привилегиях, а потеря статуса означала падение в пропасть. В пропасть, похожую на ту, куда Марина Прокофьевна грозила низвергнуть дядю Васю. Вся эта психология была следствием того декретируемого примата общественного над личным, который привел теперь к столь абсолютному примату шкурного над тем и другим.

Но это общие размышления. Сама эта милая женщина была весьма далека от этих приматов. И как ни говорите — решилась выйти замуж за ссыльного, перекрыть (тогда казалось, что навсегда) дорогу к любой карьере. Я к ней относился, да и теперь отношусь очень тепло. Только вот имя я ее забыл — жалко. Отношения у нас с ней, как и с Пашей, были до конца самыми сердечными. К сожалению, возвратившись в жизнь, я потом потерял их из виду. Даже не знаю, где они жили после Пашиной реабилитации. Но это были хорошие люди.

Нарабатывались мы очень — ведь по технологическим условиям работа эта могла вестись только под палящим солнцем. Но вот количество кирпичей («савманов», как мы их называли) достигло и перевалило за контрольную цифру, назначенную нашим инженером и строителем Николаем Ивановичем (о нем чуть ниже), и встал вопрос об их перевозке к нашему «стройучастку».

Мне это казалось делом простым — главное, достать транспорт: быков или лошадей с телегой. Кто-то мне с этим помог. Я привел быков к разрезу, трудолюбиво нагрузил полную телегу саманами, прикрикнул на быков, чтоб они тронулись, а они — ни с места. Я пробовал хлестать их кнутом, вести их под уздцы — результат был тот же, саботаж продолжался. Дело усугублялось тем, что все происходило под вечер, в чистом поле, и вокруг не было ни одного человека, кто бы мне мог объяснить, в чем дело (хоть из таких состояла вся деревня и все деревни вокруг). Отнюдь не сразу и с большим удивлением я сообразил, что груз слишком тяжел, и быкам просто не под силу сдвинуть такой воз. Как же так — обыкновенный воз, и не под силу? А ведь мог бы сообразить, что саманы — это прессованная глина, а воз прессованной глины — что-то весит. Мог, да

не смог. Стал опытным путем сгружать по одной саманине. В конце концов они тронулись. Кажется, одну ездку сделали, а на второй — сломалось колесо. На другой день я обратился за помощью к работнику МГБ дяде Васе. Отношения у нас с ним были хорошие и дружеские, особенно через Алика. Хотя обо мне он говорил с недоумением:

— Наум — хитрый. Хочет, чтоб он писал стихи, а ему за это деньги платили.

Те, кто почувствует в этом недоумении «антисемитский душок», ошибутся. Дядю Васю такие материи не интересовали, а хитрых в Чумакове хватало и без евреев. Он просто был поражен тем, что взрослый человек может строить такие хитрые, но детские планы.

А насчет меня дядя Вася как в воду глядел. Именно этого я и хотел. И через много лет — правда, всего только года два — это у меня даже получалось. А так — не вышло. Еще больше б он удивился, узнав, что и тогда, когда он об этом говорил, у некоторых такие планы вполне реализовывались: с этого и жили, и даже безбедно. Видимо, они были еще хитрее, чем я.

Тем не менее дядя Вася относился ко мне вовсе не плохо. Во всяком случае, когда я рассказал ему о своих мытарствах и попросил помочь с транспортом, он отнесся к моей просьбе вполне дружественно и серьезно: строительство дома — не стихи, а дело нужное, — и сходил к начальнику попросить разрешения дать мне лошадей. Капитан Кошелев разрешил. Но перевозка саманов действительно оказалась не стихами, и колесо в телеге райотдела МГБ я тоже сломал. Лошади были сильные, но повозка больше трех саманов не выдерживала. Правда, дядя Вася чуток подправил ее, и несколько часов я на этих битюгах возил по три штуки зараз. Потом произошел случай психологически более тяжелый, хотя все разрешилось благополучно.

У деда на квартире дня на два-три остановился призывник из дальней глубинки, приехавший в военкомат на регистрацию. Это был молодой крепкий парень с добрым и очень располагающим к себе лицом. Глаза его так и излучали доверие. У него я тоже попросил лошадей на несколько часов. Он с готовностью согласился. И — вы в соответствии с анекдотом, конечно, опять будете смеяться — колесо я сломал и в его телеге. Мне было не до смеха. Мало того, что я подводил парня, которому надо было возвращаться до-

мой на этой телеге (а путь был не ближний), но мне жутко не хотелось, чтобы его первый выход в люди, в большую жизнь был связан с обманутым доверием. И, конечно, чтобы такое приобретение опыта было связано со мной.

И я заметался. То ли время уже было нерабочее, то ли день выходной, но никто мне не мог помочь. Но кто-то надоумил меня зайти к моему приятелю и ровеснику, плотнику Пете. И Петя выручил меня. Мы вышли с ним в сарай, где стоял его верстак, и он там починил поломку. Договорились (в тот момент у меня денег не было), что я ему буду должен за это двадцать пять рублей, которые я отдам недели через полторы-две. Отсрочка его не беспокоила — он не сомневался, что я отдам. Я ему был очень благодарен. Теперь я мог смотреть в глаза молодому парню из глубинки. Я от него ничего не скрыл, но он, осмотрев починенное колесо, остался вполне им удовлетворен. И к вечеру уехал.

Но на этом мои неприятности не кончились. Недели через две я занес Пете деньги, но поскольку не застал его дома, отдал их его матери. Мне это казалось вполне естественным. Правда, заметил я некую хищную радость в ее глазах, когда она принимала эти деньги, но не придавал этому значения. Свой долг я считал выполненным. После этого Петя месяца два молчал. Может быть, даже поглядывал на меня искоса, но я не замечал. Лишь спустя немалый срок он при встрече спросил меня как бы между прочим:

— Наум, а ты мне долг когда-нибудь отдать думаешь?

Я опешил. Человек спас меня от величайшего конфуза, а теперь, видимо, имеет какие-то основания считать, что я обманул его, оплатил ему черной неблагодарностью. Я ни в чем не был виноват, но не знал, куда деваться от стыда.

— Как? — удивленно и растерянно ответил я. — Я ведь давно отдал. Как уговаривались.

— Как отдал? — теперь настала его очередь удивляться. — Мне?

— Нет, тебя не было! Я твоей маме оставил.

— Маме? — огорчился Петя. И с досадой спросил: — Ах, зачем ты это сделал?

— А она, значит, тебе не сказала?

— Да нет... Разве она скажет!

Я не знал, что делать. Все равно получалось, что я его надул.



— Знаешь что, Петя! Раз так получилось, раз я допустил оплошку, я тебе заплачу еще раз. Ты меня тогда выручил, и я не могу, чтоб ты думал...

— Да нет, ничего я не думаю, — сказал он устало, — не надо... Ты занес, раз говоришь... А она вообще у меня такая.

Двадцать пять рублей тогда в Чумакове и для него, и для меня были суммой немалой, но он наотрез отказался от повторной платы:

— Да знаю я ее... Знаю.

Но мне все равно было тошно.

Я просто стал жертвой крушения уклада, психологии, норм общежития. Конечно, эта женщина считала себя в своем праве. Она никогда бы не присвоила так чужие деньги, но это были деньги ее сына, на которые она, как ей казалось, имела право. А может, и на самом деле имела, может быть, он плохо выполнял свой сыновний долг? На него непохоже, но не знаю — традиционные нормы семейных взаимоотношений потеряли четкость. Но это явно распространилось и на иные сферы. Ладно, у нее с сыном какие-то счеты, но я при чем? Ну пусть бы денег ему не отдала, но сказать, что я их принес, она должна была? Но она этого не сделала, решила: «сами разберутся». Мы и разобрались в конце концов. Но до этого Петя долго думал, что я злоупотребил его доверием. Я безвинно оказался жуликом. По ее вине. Но это, судя по всему, ее не беспокоило. Впрочем, недостаточно четкими в этом смысле нормы поведения были в Чумакове не только у нее.

Это происходило на фоне того, что воровства в общем не было. Можно было оставить на участке что угодно — никто бы не взял. Да и как возьмешь — деревня.

— Наум, а ты Федьке свою кепку давал? Да? То-то я вижу, он в ней ходит.

В смысле денег тоже. У Аликиного учителя, замечательного мастера Нидера, была та же история, что и у Густава Александровича. Он был немцем, арестованным в тридцать седьмом, а семью его выслали в начале войны, теперь он ее нашел. Только он к ней не просился, а поддерживал ее материально из Чумакова. Он был хоть и крепок, но сильно хромал, сходить на почту было ему несколько обременительно. Поэтому отправить перевод он однажды попросил Алика. Алик сходил, отправил и вручил Нидеру квитанцию. Нидер заглянул в квитанцию и сказал:

— Да, тебе можно поручать такие дела.

Встретив недоуменный взгляд Алика, он пояснил:

— А местным (имелись в виду подростки) — нельзя. Обязательно рублей двадцать самовольно одолжит. Скажет: «Я вам потом отдам». Или: «Я вам картошкой потом отдам». Но одолжит. А моим там жить не на что. Да... Ребята хорошие, но давать им в руки деньги нельзя.

Не знаю, насколько он был прав. У меня такого опыта не было. Впрочем, и в его рассказе чумаковские ребята не выглядят нечестными. Только несколько неаккуратными в коммерческом отношении. Они ведь знали, что деньги эти в конце концов отдадут (и отдавали), как Петина мама знала, что деньги не чужие, а собственного сына.

Но так или иначе, с приключениями и без, саманы в достаточном количестве были произведены и перевезены. Надо было приступать непосредственно к строительству. Впрочем, «проект» дома был давно обговорен с понимающими людьми. Прежде всего с Нидером. Б.Г. хотела, чтобы окна в нашем доме были большими и светлыми, но ее смущало, что в домах аборигенов окна маленькие. Напоминаю, что у деда дом был просторным, но окна такие, что над окном висело зеркало, перед которым дед расчесывал свои вихры. Может быть, мы в своем светлом доме замерзнем? Все-таки у них опыт. Нидера эти слова просто рассердили.

Говорил он по-русски свободно и правильно, но произношение у него было немецкое. Допустим, вместо «Д» он произносил «Т». Рассказывая о его разговоре с Аликом, я эту подробность как-то сгладил, ибо при разговоре не присутствовал, а реконструировать не хочу. Но его возмущенный ответ по поводу местного архитектурного опыта я слышал сам и попытаюсь передать во всей красочности.

— Та, та, опит! — саркастически произнес Нидер. — Торокой опит! Они потому такие маленькие тфери телают, чтобы опит не сапыть. Утарится калффой — сразу опит вспомнит.

После такого выступления вопрос о маленьких окнах, а заодно и дверях отпал сам собой. Ценные советы по поводу планировки дома и заготовке материала дал и главный строитель нашего дома, вскользь уже упомянутый инженер-строитель Николай Иванович. Естественно, тоже лагерник и тоже ссыльный. Он выполнил роль не только инженера, но и каменщика. Складывать дом тоже надо умеючи — чтоб не

развалился. Николай Иванович выполнял эту работу мастерски, а мы все были его подручными — подносили саманы. Работал он только в вечерние часы — после своей основной работы — и в выходные, но дело спорилось.

История его такова. Стройуправление, в котором он работал в Москве, строило дополнительное здание Лубянки. То, которое заслоняет первоначальное — дом страхового общества «Россия» от Лубянской площади и Мясницкой — вообще почти со всех сторон. Николай Иванович был прорабом строительства этого здания. А может, его части — теперь не помню. Как прораб Николай Иванович сдавал свой объект чинам НКВД, когда строительство (или его часть) было закончено. Ходил с ними по кабинетам, проверял качество паркета и тому подобное. А после того как это здание (или его часть) было «сдано в эксплуатацию», Николай Иванович был арестован. Поскольку теперь слишком много знал. Что ему «шили» конкретно, я не помню, да и значения это не имеет.

Естественно, при своей квалификации и способностях он не пропал и в лагере — в строителях начальство нуждалось. Иногда раздавался клич возобновляемой бдительности: «пятьдесят восьмую использовать только на тяжелых физических работах». Откликаться начальству надо было. Но, с другой стороны, с начальства требовался и выход продукции, а тут уже бдительность к «делу» было не подшить. Николай Иванович почти весь срок работал по специальности. Рассказывал разные истории. В том числе и о стахановском движении в ГУЛАГе.

Однажды по всем ОЛПам (ОЛП — отдельный лагерный пункт) того лагерного управления, где сидел Николай Иванович, все КВЧ (напоминаю: культурно-воспитательная часть) стали трубить о заключенном-рекордсмене, выполнявшем несколько норм на земляных работах. Дело это было невозможное, мало кто и до одной дотягивал. Конечно, и лагерная туфта «строить и жить (точнее, выживать) помогала», но о ней не трубили, да и до таких показателей ни один туфтач не додумывался. Но поскольку такой рекордсмен возник, его стали возить по ОЛПам — делиться опытом. Привезли и на их ОЛП. И сунули бить рекорды как раз на участок Николая Ивановича.

— Ну, выделил я ему рабочее место, — вспоминал Николай Иванович, — и пошел. Прихожу уже после полудня.

Смотрю — почти ничего не нарыто. Спрашиваю: «Сколько сделал?» «Процентов четыреста, — отвечает, — но я к концу дня еще двести сделаю». А там и тридцати нету. Ну, я понял и закрыл ему наряд — 600 процентов. Я понял, что не я первый вижу, что это туфта. Но поддерживают. Значит, заинтересованы. А раз заинтересованы, то мне становиться вдруг умнее всех нечего. Сотрут в порошок — это им раз плюнуть. Да и что мне — больше всех это надо? Им все равно, а мне подавно.

Все, что он говорил, было правдой. Бесправному эзку идти против «перевоспитывающего» его лагерного начальства — нелепей, чем плевать против ветра. Эк от начальственного произвола не защищен ничем. Для того чтобы его сместить с должности и загнать на лесоповал, не нужно было никаких юридических обоснований, не надо было справляться ни с какими параграфами КЗОТа. Все зависит от расположения начальства и от его интересов. А интересы начальства требовали трудовых рекордов — ГУЛАГ не мог стоять в стороне от стахановского движения. Так было во всей стране, так людей приучали к показухе, к бессмыслице и к безответственности как к основному закону жизни. И люди постепенно привыкали. Теперь отвыкнуть не могут. Не Николай Иванович — он так себя вел только тогда — в настолько противоестественных обстоятельствах, что нормальному человеку их и представить трудно. А в общем своем поведении до конца оставался честным и порядочным человеком. Во всем. И прежде всего — в отношении к труду. Дом он нам построил вполне хороший. Но могли ли все это сохранить или хотя бы потом восстановить более молодые, с менее сформированным отношением к вещам? Строго, целеустремленно и неуклонно вел товарищ Сталин страну к сегодняшнему беспределу.

Однако и строительство, и лето шли к концу. Возникла ситуация, вызвавшая мой марш-бросок за гвоздями в Зонново к Паше Цветкову, который стал недавно завхозом строительства тамошнего маслозавода — я уже о нем здесь упоминал. В сущности, Паша должен был для меня украсть этот дефицитный товар, а я принести краденое к нам на стройучасток. Мне это было и противно, и страшно. Но что было делать? Никаких гвоздей во всей округе не было, а крышу без гвоздей установить было невозможно — нечем было закреплять стропила. До сих пор обходились без гвоз-

дей, а тут — никак. А медлить было нельзя — в случае начала дождей отсутствие крыши грозило нам катастрофой.

И я отправился в Зоново. Деревня эта расположена тоже на Оми, но километрах в тридцати выше Чумакова. Вернее, выше Ушкова — потому что по ушковскому берегу. О сущности этого путешествия я уже рассказал. Но тут важнее для меня сторона психологическая, переживательная. Ибо в общем я был очень не расположен к воровству.

Так что, выйдя утром в путь с пустым рюкзачком за плечами, чувствовал я себя не очень уверенно. Мне удалось поймать попутный грузовик, шофер которого против моих опасений нисколько не заинтересовался, зачем это я отправился в Зоново с рюкзаком, и я мигом, то есть минут за тридцать—сорок (дороги в тех местах не американские), доехал до места, вернее, до того пункта на противоположном от Зонова берегу, где, вероятно, официально был перевоз. Но перевозом и не пахло, перевозчика-водогребщика на месте не оказалось, словно бы и не предполагалось, только внизу под косогором покачивалась пустая лодка без весел и людей. Это меня обескуражило. Я принялся кричать, но ни до кого не докричался. Положение казалось безвыходным и отчаянным. И вдруг я решился — просто лег на дно лодки и начал грести руками. Спасало меня то, что речка в этом месте и в это время была очень узкой — метров шесть-семь, две-три лодки в длину — и я все же не перевернулся, а кое-как добрался и выбрался на берег. Я «причалил» к задам деревенской улицы, на которую тут же и вышел по узкому проходу между усадьбами.

Разыскать в Зонове Пашу было нетрудно: в такой деревне завхоз строительства — личность заметная. И я его скоро нашел. Времени вместе мы провели немного. Он взял у меня рюкзак, отошел с ним куда-то и скоро вернулся с рюкзаком. Только теперь он был полон гвоздями. Эта часть операции была закончена. Больше мне здесь делать было нечего, надо было приступить к возвращению.

Попутных машин или подвод не оказалось, никто о них не знал, и в обратный путь я отправился пешком. Это был очень тяжелый путь. Конечно, не из-за рюкзака — три-четыре килограмма за спиной не груз. И не был этот путь слишком долог: занял часа два-три, не больше. Но не сама ходьба была тяжела, хоть я не привык одолевать пешком такие расстояния. Наоборот, мне даже нравилось идти,

втягиваться в ходьбу. Это совсем не то, что ходить по улице. Иное качество. Тяжел мне этот путь был из-за страха, который от меня не отступал ни на минуту. Меня пугали все встречные и все, кто меня перегонял на лошадях, — правда, и тех и других было немного, дорога в основном была пустой. И вообще никто мною не интересовался. Но мне все равно было не по себе. Я нес краденые гвозди, сделанные кустарным способом. А что будет, если меня задержат? Ведь и Пашу подведу, и моя жизнь потеряет смысл. Лавры уголовного меня не прельщали. Но если все бросить и прийти пустым — что будет с нашим домом? Все превратится в глину, и прахом пойдут все затраченные средства и силы. Мы ведь хотели бы купить гвозди, достать их законным путем — да ведь н е г д е. Другого выхода нет, а так вся жизнь на кону — из-за трех килограммов гвоздей! Но три часа прошли, и все обошлось. И когда я проходил через Вялково и через Ушково, и когда шел по Чумакову к нашему строительству, никто содержимым моего рюкзака не поинтересовался. Путешествие мое кончилось благополучно.

А назавтра Николай Иванович приступил к установке крыши. И успел до дождей. Кажется, успел и оштукатурить дом снаружи. С нашей посильной помощью, конечно. Теперь уже нам ничего не было страшно — поскольку над головой была крыша, все остальное уже не так поджимало.

В сущности, дом был готов. Планировка его была проста. Половину его занимала комната Б.Г., она же кухня, она же гостиная, во второй половине часть составляла наша с Аликом спальня, часть сени с тремя дверями: одной на улицу, а двумя — в обе комнаты, налево от входной двери в комнату Б.Г., а напротив нее — к нам.

Б.Г. оригинально решила вопрос с рамами. Обратилась к заведующему райкомхозом Королькову. Нет, не как к руководителю учреждения, а как к ...плотнику. Она откуда-то знала, что он до своего «возвышения» был первоклассным плотником. Но теперь он был районной номенклатурой, у него в подчинении было несколько плотников, и теперь он до «простой» плотницкой работы «опускался» редко. Б.Г. решила сломить эту инерцию. И однажды, встретив его где-то на улице, она спросила:

— Извините, пожалуйста, можно с вами поговорить?

— В чем дело? — спросил он.

— А в том, что я бы очень хотела, чтобы вы сделали рамы для нашего дома.

Он спросил, почему она решила обратиться к нему. Она ответила:

— Я знаю, что вы это очень хорошо сделаете. Видела ваши работы.

И предложила ему достойную цену. Корольков удивился, но согласился.

И я получил возможность наблюдать его в деле. Я его встречал и раньше. Почти всегда в легком подпитии и суровой важности. Я уже упоминал, что из-за этой своей страсти он уже отправил двух или трех своих кассирш в лагерь. Он брал у этих неопытных девиц деньги из кассы, они ему послушно их выдавали — он же начальник, — а потом не у него, а у них оказывалась недостача. Но года полтора назад, когда стали прибывать ссыльные, ему сунули в качестве кассира опытного бухгалтера из Армении, и эта лафа для него — похоже, и к его собственному удовлетворению — кончилась. Но интересоваться выпивкой он, естественно, не перестал. А тут пришел как стеклышко, измерил проемы окон, через несколько дней вернулся с рамами, аккуратно и точно вставил их в проемы и закрепил. И с удовольствием чувствовал, что все присутствующие любят точностью его движений, его мастерством. Это был совсем другой человек. И на кой было превращать такого мастера в чиновника, в заврайкомхозом, в районную номенклатуру? Кому нужно было, чтобы он в этом качестве, теряя себя, пропивал чужие жизни и уж безусловно свою?

Я ведь не отрицаю, что нужны и чиновники, и даже что далеко не все могут руководить райкомхозом, но разве такой мастер меньше стоит, чем заврайкомхоза? Каждому свое. Но это не было основным законом общества, где действовали максимы: «Нэзамэных людэй нэт» и «У нас люди растут». Но росли они часто даже не по закону Паркинсона «до уровня своей некомпетентности», а куда-то или далеко переходя за этот уровень или просто куда-то вбок. Потому что для государства это были не «люди», а «кадры». Они, боюсь, и «решили все».

Кажется, Корольков поставил нам и двери. При окнах, дверях, крыше и стенах можно было приступить и к внутренним работам. О женщинах, штукатуривших и беливших

стены изнутри, я уже рассказал, когда рассказывал о председателше. Но оставался еще «половой вопрос». Б.Г. хотела, чтобы пол был не совсем простой, кажется, из небольших досок, но, конечно, не паркетный. Обратились мы по чьей-то рекомендации к двум работавшим в промкомбинате молчаливым белорусам. Одного — высокого, плечистого — звали дядя Саша, как звали второго — он был чуть пониже, — я не помню. Но все переговоры шли через дядю Сашу. Он был как бы бригадиром. Они пришли, осмотрели фронт работ, выслушали пожелания хозяйки, договорились о цене (по-моему, мы просто сразу приняли их цену), и на следующий день, точнее, вечер (после основной работы) приступили к работе. Рассчитывали они, видимо, что работы здесь на неделю, но прошла неделя, и вторая, и третья. Работали они хорошо, сноровисто и быстро, добросовестно, а работа все не кончалась — видимо, они ошиблись в расчетах. Работы здесь было гораздо больше, чем они поначалу предполагали, и стоила она много больше, чем они запросили. Но уговор дороже денег — они работали и молчали. Естественно, и мы понимали, что они продешевили. Но как-то все было неловко начать разговор. В конце концов Б.Г. решилась.

— Дядя Саша! — сказала она. — Я хотела бы с вами поговорить.

— О чем? — невозмутимо спросил дядя Саша.

— Об оплате вашей работы. Вы ведь, когда назначали цену, не думали, что она займет так много времени...

— Да, мы ошиблись.

— Тогда назовите настоящую цену.

В это время вошел его товарищ, неся на плече доску. Увидев озабоченные лица, он спросил:

— О чем это тут разговор?

— Да вот они видят, что оплаты недостаточно. Исправить хотят.

— А... — сказал товарищ как о чем-то незначущем и проследовал дальше.

Возник маленький спор. Дядя Саша хотел, чтоб цену назначили мы, а Б.Г. резонно возражала, что он лучше знает, сколько стоит их работа, и мы ему вполне доверяем. Дядя Саша подумал и назначил цену. Она была раза в три больше первоначальной, но вполне соответствовала квали-



фикации и затраченным усилиям. И была без возражений принята другой стороной. Такие люди жили в нашей стране. И кому надо было гноить их в лагерях и мытарить по ссылкам?

На этом эпопея строительства закончилась. Она сводила меня с разными людьми. И в общем создавала атмосферу талантливости, честности, доброжелательства, которую я остро ощущал и в которой тогда жил. Правда, повторяю, только на уровне частных отношений. Но над всем этим царила сталинщина, все это губившая и тратившая напропалую.

В этом доме я жил как будто недолго. Соседом у нас оказался «немецкий шпион на местечковой лесопильне» Гирин, к которому приехала семья. Недалеко от нас помещался детский дом, в котором дети жили лучше, чем во многих семьях. Помню, что в этом доме жила гигантская розово-черная свинья с огромными клыками, которая временами вырывалась из детдомовского свинарника и вела себя весьма агрессивно, нападала на людей. Но общими усилиями ее с трудом загоняли обратно.

Детдом был вроде неплохой, но сталинщина была сталинщиной. Неприятно было от того, что детдомовцы-немцы по достижении шестнадцатилетнего возраста посвящались в спецпереселенцы. Им тоже давали не паспорта, как всем остальным, а филькину грамоту, похожую на наши.

Постепенно мы обживали дом, завели даже кота. Приходили гости. Приходил к нам осмотреть дом дед, у которого мы жили. Навестил нас однажды и работник МГБ, дядя Вася. Пил с нами чай, беседовал о жизни. О своей работе отзывался так:

— Жизнь-то, конечно, у многих трудная, но у меня полегче. Организация у меня больно хорошая. — И пояснял: — Сколько раз лошадей просил — всегда давали. И пахать, и убирать, и в «урман» за дровами...

Иронизировать над этими его словами не стоит. Лошади, которых он получал для пахоты, уборки огорода (картошки), поездок в «урман» за лесом и дровами — заметно облегчали его все равно трудовую жизнь. Конечно, все эти работы он выполнял и для всего персонала, но и самому перепадало. Человеку трудно к нормальному (возможности пахать и возить на лошадях) относиться как к ненормаль-

ному. А то, что нормальное становилось привилегией, была не его вина, да и не его забота. За это отвечали другие — те, кто ни за что не отвечал.

Постепенно подходила зима, декабрь, подходил и перешел мой срок: двадцатого декабря. Я, естественно, нервничал. Встретили Новый, 1951 год. Я уже приходил к выводу, что не отпустят. Но вот вечером, числа третьего января раздался громкий стук в дверь. За дверьми в белом тулупе возник задыхающийся и счастливый Миша Зонов:

— Наум (передых). Наум! Давай! (передых) — к начальнику! Срочно!

А глаза сияют. У меня забилося сердце:

— Зачем?

— Там (передых) узнаешь.

А глаза сияют еще ярче.

— Освобождение пришло?

И тут служебная таинственность покинула его, и он радостно закивал головой. Я в секунду набросил на себя пальто (мне его родители прислали, чтоб было в чем ехать) и побежал за Мишей в райотдел. Начальство встретило меня сдержанней, чем Миша, но все-таки все были довольны. У меня спросили, куда я хочу поехать, я сказал — в Тюмень (потому что в Свердловске жили мои друзья Тamarченки, которые мне это через родителей посоветовали). Уезжал я дня через три — все не было транспорта. Вдруг кто-то прибежал и сказал, что от МТС в Барабинск направляется тракторный поезд.

Меня проводил Алик. С трактористами я быстро договорился, что они меня берут, а я по дороге куплю пол-литра. И колонна тронулась. Я уезжал в большой мир, а Алик, который в нем и не жил никогда, оставался. Мы простились, и он долго махал мне вслед руками, одетыми в рыжие «собаки» — большие рукавицы из собачьего меха. Я видел их сквозь слезы. Мне было очень больно оставлять его здесь — ведь он ничего еще почти не видел, кроме «малолетки», лагеря и ссылки. Очень долго стояли у меня потом в глазах эти «собаки».